

Алексей Шейко

ОПЦИЯ

«СЕМЬЯ»



Алексей Шейко

Опция "семья"

«Автор»

2026

Шейко А.

Опция "семья" / А. Шейко — «Автор», 2026

Когда тебе двадцать восемь, в твоих планах — карьера, своя клиника и свобода. Брак по расчету точно не входит в этот список. Но что делать, если твой единственный шанс получить многомиллионное наследство и открыть клинику — это целый год изображать счастливую жену совершенно чужого человека? Галина — талантливый хирург, которая мечтает открыть собственную клинику. Алексей — IT-предприниматель, для которого наследство это совершенно другие возможности. Их объединяет только одно: два упрямых деда-бизнесмена, которые дружат уже полвека. Пожилые тираны ставят наследникам ультиматум: либо ровно через 365 дней они предъявят обществу идеальный брак без сучка без задоринки, либо лишатся семейного капитала навсегда. Для Галины эти деньги — билет в независимое будущее. Для Алексея — фундамент его IT-империи. Это всего лишь холодный контракт. Никаких чувств, никаких обязательств после истечения срока. Только безупречная игра на публику ради подписи на чеке

Алексей Шейко

Опция "семья"

Глава 1.

Утро на сорок седьмом этаже начинается с того, что город внизу притворяется, будто его нет. Стекло от пола до потолка, и Москва под ним — серая петля из машин, которые никуда не едут, а только меняют полосу, как будто в этом есть какой-то высший смысл. Я пью кофе. Второй за утро, из тех капсул, которые обещают «богатый вкус Гватемалы», а на деле дают вкус тёплой воды с амбициями.

На экране код, а в наушнике Марат, который объясняет команде, почему инференс на новом модуле проседает на длинных контекстах. Голос у него бодрый, как у человека, который спал четыре часа и считает это нормой.

— Мы теряем на аттеншене, — говорит он. — Если резать окно, качество падает. Если не резать, стоимость улетает.

— Значит, ищем середину, — отвечаю я. — Как всегда. Никто ещё не разбогател на краях.

Кто-то в чате пишет: «золотые слова». Смайлик. Я не люблю смайлики в рабочих чатах, но я их терплю, потому что альтернатива, быть тем начальником, который запрещает смайлики, а это ещё хуже. Всё идёт своим ходом. График сходится, метрики ползут вверх маленькими прыжками, как ребёнок по лестнице. Одна ступенька, остановился, гордо оглянулся. Это моя стихия. Здесь всё можно посчитать. Здесь у каждой проблемы есть причина, у причины параметр, у параметра ползунок. Двигаешь ползунок, мир меняется. Ни одна женщина, ни один дед, ни один нотариус так не устроены.

Телефон вибрирует ребром о столешницу. Экран: «Дед».

Не «Константин Александрович», не «дедушка», просто «Дед», как я записал его лет в двадцать и с тех пор не менял. Он бы, наверное, оценил лаконичность. Или не оценил бы, с ним никогда не угадаешь, что покажется ему уважением, а что дерзостью.

— Марат, я на пять минут — говорю я и снимаю наушник.

Принимаю.

— Да, дед.

— Здравствуй — Пауза. Он всегда делает эту паузу, будто проверяет, на месте ли собеседник — Приезжай сегодня к шести. Есть разговор. — И всё.

Я жду продолжения. Продолжения нет. Обычно дед звонит, чтобы поговорить, он из того поколения, для которого телефон это способ провести полчаса, а не передать факт. Он спрашивает про здоровье, про работу, которую называет «твоими компьютерами», рассказывает, что у него болит спина и что врачи ничего не понимают. Он тянет время, как будто ему за это платят.

А сейчас — четыре секунды и точка.

— К шести — повторяю я — Хорошо. А по какому...

— Приезжай. — Гудки.

Я кладу телефон экраном вниз, что делаю только тогда, когда мне не нравится то, что на экране было. Смотрю на код. Курсор мигает в конце незакрытой скобки, я так и не дописал строку. Мигает ровно, спокойно, с той бесстыжей уверенностью, с которой машины ждут, пока человек разберётся со своей жизнью. Дед так звонит не просто так.

Дед вообще ничего не делает просто так, это у нас, видимо, семейное, только у него это называется «характер», а у меня «расстройство». Когда он говорит длинно, речь идёт о вещах, которые можно обсудить и отложить. Когда он говорит коротко, речь идёт о вещах, от которых нельзя отказаться. Короткость у него, это не экономия слов. Это форма, в которую

он заворачивает то, что не собирается ставить на голосование. Я перебираю в памяти, когда последний раз слышал этот тон.

Когда умерла бабушка. Он позвонил в половине седьмого утра и сказал ровно шесть слов: «Приезжай. Бабушки больше нет. Не спеши». Последнее было самым страшным — «не спеши», потому что торопиться было действительно некуда, и он это уже понял, а я ещё нет. Мы просидели тогда в его кабинете до ночи, и он не плакал, а я не знал, куда деть руки, и мы пили коньяк, который бабушка ему не разрешала, и он всё повторял, что теперь-то можно.

А до этого, когда я забрал документы с юрфака. Мне было двадцать, и я был уверен, что совершаю революцию, а совершал я, как выяснилось, всего лишь глупость, которая случайно оказалась удачной. Дед вызвал меня тогда таким же звонком. Разговор был долгим и неудобным, он говорил про фамилию, про ответственность, про то, что «эти твои алгоритмы» никого ещё не кормили, а я сидел и считал трещины на потолке его кабинета, потому что смотреть ему в глаза было невозможно, а смотреть в сторону невежливо. Оба раза после такого звонка моя жизнь делала поворот, которого я не заказывал. И вот третий.

Я допиваю кофе. Он остыл до той температуры, при которой «богатый вкус Гватемалы» окончательно теряет иллюзии насчёт себя и становится просто холодной коричневой водой. Символично. Я мог бы, конечно, не ехать. У меня дедлайн, настоящий, не выдуманный, релиз в пятницу, и это железная причина, против которой не поспоришь даже с дедом. «Прости, работа». Он уважает работу. Теоретически.

Практически он бы всё понял. И это было бы хуже, чем если бы не понял. Потому что дед из тех людей, у которых понимание — это отсроченный счёт. Он кивнёт, скажет «конечно, работа важнее», а потом эта фраза будет висеть, между нами, месяцами, набирая проценты. Я надеваю наушник обратно.

— Марат, я вернулся. На чём мы?

— На середине, которая никого не радует.

— Отличная формулировка. Впиши её в презентацию.

Он смеётся. Я смотрю на город за стеклом, где машины всё так же меняют полосы, уверенные, что этим что-то решают.

Полшестого закрываю ноутбук. Крышка щёлкает мягко, дорого, за это и платишь. Ставлю пустую чашку в раковину, где она будет стоять до вечера, потому что мыть посуду сразу, это уровень контроля над жизнью, которого у меня нет даже в лучшие дни. Ехать к шести. Есть разговор. Ну конечно есть. У деда всегда есть разговор. Вопрос только в том, во что он мне обойдётся на этот раз.

* * *

Особняк деда стоит в переулке за Ордынкой, в том Замоскворечье, которое реставраторы ещё не успели превратить в декорацию для свадебных фотографов. Я знаю здесь каждый угол. Знаю, что вторая ступенька крыльца скрипит, если наступить на неё с краю, и что не скрипит, если по центру, детское знание, которое живёт в теле дольше, чем в голове. Знаю, как открывается тяжёлая дубовая дверь: сначала упирается, потом сдаётся сразу, и надо придержать, иначе она ударит в стену, и дед из кабинета скажет, не повышая голоса: «Аккуратнее».

Внутри всё то же. Запах, который я узнал бы с завязанными глазами в любом городе мира: старая кожа диванов, дерево, натёртое чем-то с воском, и поверх всего едва уловимый след сигар, которые дед бросил лет пятнадцать назад, но которые въелись в стены навсегда, как въедается всё, что человек делал долго и с удовольствием.

Тяжёлые шторы в холле полуопущены, дед не любит, когда с улицы видно, что делается внутри. Профессиональная привычка человека, который семьдесят лет прожил так, чтобы никто не видел его карт.

Я поднимаюсь на второй этаж. Над камином в кабинете, портрет. Дед в молодости, лет тридцать, мой нынешний возраст, если вдуматься. Художник написал его в тёмном костюме, с

чуть приподнятым подбородком, и глаза на портрете смотрят так, как смотрят люди, которые ещё ни разу в жизни не слышали слова «нет» и не собираются начинать. Я всегда думал, что художник польстил. Теперь думаю, что, скорее, не дотянул.

— Проходи, — говорит дед, не оборачиваясь. Он стоит у окна. — Раздевайся, тут тепло.

Тепло. В кабинете действительно натоплено до того состояния, при котором хочется растегнуть ворот, дед мёрзнет последние годы и топит так, будто на дворе не апрель, а январская Колыма.

На низком столике между двумя креслами — чай. Уже разлит, в тех самых чашках с синим ободком, которые бабушка привезла когда-то из Ленинграда. И рядом, чуть в стороне, будто случайно, початая бутылка. Армянский, пятизвёздочный, тот самый.

Я фиксирую это раньше, чем успеваю сесть.

Коньяк и чай на одном столе. Это как встретить человека в смокинге и резиновых сапогах — сочетание, которое что-то означает, и означает оно нехорошее. Чай, это дед хочет казаться мягким. Дед в режиме «давай по-семейному, по-домашнему, я же тебе не чужой». А коньяк, это дед знает, что по-домашнему не выйдет, и держит наготове то, чем в этом доме заканчиваются все серьёзные разговоры. Он выставил обе версии вечера сразу. Вроде как сам выбирай, в какую поверить.

— Садись, — говорит он и наконец отходит от окна.

Он постарел с зимы. Не сильно, дед из породы дубов, которые не гниют, а высыхают, оставаясь стоять. Но кожа на руках стала суше, и двигается он теперь с той аккуратностью, с какой носят стакан, налитый до краёв. Я сажусь. Кресло принимает меня, как принимало всегда, — оно старше меня и помнит вес трёх поколений.

— Ну, — дед опускается напротив, устраивается, разглаживает плед на подлокотнике. — Как твои дела? Читал я тут. Мне Игнатев показывал.

— Что показывал?

— Что вы там подняли. Раунд этот ваш. — Он произносит «раунд» с той осторожной точностью, с какой произносят слово на чужом языке, но произносит правильно, потому что дед не из тех, кто ленится узнать значение. — Сумма серьёзная. Я, честно скажу, не всё понял в этих ваших... как их. Но люди, которые дают такие деньги, дураками не бывают. Значит, что-то ты делаешь верно.

— Спасибо, — говорю я коротко.

Это похвала. Настоящая, дед не разбрасывается. Ещё десять лет назад «эти твои алгоритмы» были в его устах чем-то средним между блажью и позором фамилии, а теперь он читает про раунды и держит в голове фамилию инвестора. Люди меняются. Даже такие, как он, просто медленнее, чем гранит. И всё же я не расслабляюсь. Потому что это, не разговор. Это предисловие к разговору. Дед всегда сначала гладит, а потом стрижёт, и чем дольше гладит, тем короче потом стрижёт.

— Чай пей, остынет, — говорит он.

Я беру чашку. Тепло керамики проходит через пальцы, знакомое, детское тепло, синий ободок стёрт, с одной стороны, там, где бабушка держала её тысячу раз. Отпиваю. Крепкий, с чабрецом. Дед пьёт один и тот же чай пятьдесят лет.

Мы молчим. Хорошо молчим — есть люди, с которыми молчание неловко, а с дедом оно всегда было отдельным видом разговора. Я жду. Я умею ждать, я этому у него и научился. За окном, в переулке, кто-то заводит машину, прогревает, и звук мотора ползёт по стеклу и гаснет.

— Тебе тридцать лет, Алёша, — говорит дед.

Он говорит это в чашку, глядя в чай, и от этого фраза звучит буднично, почти нежно. Но я уже напрягся весь, потому что фраза, которая начинается с возраста собеседника, никогда не заканчивается ничем хорошим.

— Тридцать, — повторяет он и поднимает на меня глаза. — А я, знаешь, хочу правнуков увидеть. Пока ещё вижу хоть что-нибудь.

Хоть что-нибудь.

Вот оно. Я откладываю эту фразу в отдельную папку, где у меня хранятся все дедовы приёмы, каталогизированные за тридцать лет. «Пока вижу хоть что-нибудь», это про глаза. Только вот я сижу в трёх метрах, и дед десять минут назад читал с телефона фамилию Игнатьева мелким шрифтом без очков. Он видит прекрасно. Он видит лучше меня — насквозь, всегда видел.

Но приём хорош, надо отдать должное. Старик, немощь, уходящее время — попробуй возрази. Против арифметики не поспоришь, а он выложил на стол именно арифметику: возраст, зрение, конечность всего живого. Я делаю глоток чая. И жду продолжения. Потому что это, я знаю совершенно точно, ещё даже не разговор. Это только «здравствуй».

* * *

Дед ставит чашку на блюдце, аккуратно, без стука, что уже само по себе тревожно, потому что дед, когда доволен, всегда стучит. Тишина, с которой фарфор садится на фарфор, — это тишина человека, который переходит к делу.

— Слушай меня внимательно, — говорит он. — И не перебивай, пока я не закончу.

Я не перебиваю. Я вообще редко перебиваю деда. Не из уважения даже, а из спортивного интереса: интереснее дать человеку договорить и увидеть всю конструкцию целиком, чем сбить её на полу фразе.

— Я переписал завешание, — говорит дед ровно, как о погоде. — Всё, что есть, а есть, ты знаешь, немало, переходит к тебе. Но с условием.

Он делает паузу. Хорошую, отработанную паузу, таких у деда в арсенале штук пять, и эта из категории «сейчас будет главное».

— В течение года ты женишься. На порядочной, подходящей девушке. И у вас родится ребёнок. Выполнишь — всё твоё. Не выполнишь — всё уходит в фонд. Целиком, до копейки.

Я сижу и смотрю на него. Первая мысль, которая приходит мне в голову, совершенно неуместная и оттого честная: дед, кажется, перепутал меня с кем-то. С героем сериала, который бабушка смотрела по вечерам, где богатый старик собирает семью и диктует условия из кожаного кресла. Только у нас кресло не кожаное, а обитое той самой рыжей тканью, которую бабушка выбирала в восемьдесят девятом, и старик пьёт чай с чабрецом, а не виски, и всё это должно быть смешно, но почему-то не смешно ни на грамм.

— Год, — говорю я. — И ребёнок.

— Год до свадьбы, — уточняет дед. — Свадьба, потом уж как Бог даст. Но чтоб было видно, что вы к этому идёте, а не тянете время. Поедешь на Бали, две недели отдохнёшь от своих "алгоритмов". Там и познакомитесь.

Чтоб было видно. Он даже формулировку продумал так, чтобы я не смог отделаться штампом в паспорте.

Я молчу и делаю то, что умею лучше всего, считаю. Не эмоции, эмоции подождут, я их отложу, как всегда, откладываю, я считаю деньги. Наследство деда, это не про выживание. У меня есть бизнес, который работает, есть раунд, который закрылся в мае, есть подушка, на которой можно спать спокойно года три, ничего не делая. Мне не нужны его деньги, чтобы жить. Мне не нужны его деньги, чтобы жить хорошо.

Но это, другой порядок. Это не «жить хорошо», это другой уровень свободы: не думать, а решать. Не считать раунды, а самому быть тем, кто их даёт. Дед сколотил капитал, который переводит человека из категории «успешный» в категорию «не зависит вообще». И отказаться от, этого, не потому что не нужно, а из принципа, из гордости, из «не диктуй мне», значит отдать эту разницу добровольно. А я не люблю отдавать. Особенно принципиально. Дед видит, что я считаю. Он всегда видит.

— Дед, — говорю я наконец, аккуратно, как ставлю фарфор на фарфор, — ты понимаешь, что брак по расписанию, это не брак? Это административная процедура. Штамп, свадьба, «идём к этому», можно организовать. Только внутри там будет пусто. Ты этого хочешь для меня? Пустоты по графику?

Дед смотрит на меня, и в уголках его рта появляется что-то, что у другого человека я назвал бы улыбкой, а у деда, трещиной в граните.

— По расписанию, — повторяет он с удовольствием, будто я подобрал ему нужное слово. — А как, ты думаешь, женились нормальные люди, Алёша? До того, как вы придумали эту вашу романтику? Мать мою за отца выдали, они друг друга три раза до свадьбы видели. Пятьдесят один год прожили. А любовь, она не до, она после приходит. Ты сначала дом строишь, а потом уж он тёплый становится. А не наоборот.

Я хочу возразить, что статистика на его стороне только потому, что развода в его деревне не существовало как класса, а не потому, что все были счастливы. Но не возражаю. Потому что вижу: он не спорит со мной.

— И, кстати, — говорит дед так, будто это мелочь, будто он вспомнил между делом купить хлеба, — кандидатура есть.

Вот тут я всё-таки ставлю чашку. Медленно.

— Внучка Виктора Николаевича, — продолжает дед. — Галина. Хирург. Умница, каких мало, сама всего добилась, за отцовскими деньгами не бегаёт. Не пустышка какая-нибудь из тех, что вокруг тебя вьются. Двадцать восемь лет. Самостоятельная.

— За отцовскими деньгами не бегаёт, — повторяю я.

— Не бегаёт.

И вот здесь у меня в груди затягивается тот самый узел, который я знаю наизусть. Потому что «не бегаёт за деньгами», это единственная характеристика, которая для меня что-то значит, и дед это знает. Дед знает про меня всё, про каждую, которая приходила ко мне с восхищёнными глазами и уходила, когда понимала, что кошелек застёгнут. Он это знает и кладёт эту фразу на стол первой картой, как козырь. Умно. Слишком умно для импровизации. И тут до меня доходит остальное.

— Виктор Николаевич, — говорю я. — Ты сказал, внучка Виктора Николаевича.

— Сказал.

— И Виктор Николаевич, конечно, тоже вдруг захотел правнуков. Совершенно независимо от тебя. Так совпало.

Дед не отвечает. Дед берёт свою чашку обратно, отпивает, и это молчание — признание. Значит, это не старик расчувствовался под вечер. Это операция. Два человека, которые сорок лет вместе строили заводы и делили риски, сели и разработали план, с кандидатурой, со сроками, с симметричным условием для обеих сторон. Виктор давит на свою внучку тем же завещанием, каким дед давит на меня. Они всё просчитали заранее, до того, как я переступил порог. Меня привели в кабинет, где решение уже принято — осталось, чтобы я под ним расписался.

Я перевожу взгляд на графин с коньяком, который дед выставил в начале и который я так и не тронул. Янтарная жидкость стоит неподвижно, ловит свет от лампы, и я думаю, что не возьму её именно поэтому, потому что взять сейчас коньяк значило бы согласиться на тон вечера, на этот уютный семейный полумрак, в котором меня женят.

Дед смотрит на меня. И в его взгляде нет ни напряжения, ни ожидания, есть спокойствие человека, который уже видел концовку. Он смотрит так, как смотрят на партию, которая проиграна за десять ходов до мата, и оба игрока это знают, но правила требуют довести фигуры до конца.

Он уже решил, что я соглашусь.

И вот это раздражает меня больше всего остального. Больше условия, больше ребёнка по графику, больше двух стариков, играющих в шахматы моей жизнью. Не то, что он давит. А то, что он не сомневается.

— Я подумаю, — говорю я.

Дед кивает. Медленно, удовлетворённо, с той самой трещиной в уголках рта. Кивает так, как будто я уже сказал «да».

* * *

Третье кольцо в этот час почти пустое, и машина идёт легко, будто сама знает дорогу. Я держу руль двумя пальцами и смотрю, как впереди, за развязкой, поднимается Сити — прямоугольные столбы света, воткнутые в ночь, и за каждым окном чужие жизни. Мой дом там, в одном из этих столбов, на тридцать шестом. Радио бормочет что-то деловое, курс, ставка, аналитики прогнозируют, и я не выключаю его не потому, что слушаю, а потому, что тишина сейчас была бы лишней честностью.

Я прокручиваю разговор. Не весь, фрагментами, как прокручивают в голове неудачно закрытую сделку, ища место, где можно было сыграть иначе. Дед с его коньяком, которого я не тронул. Дед с его трещиной в уголках рта. Дед, который выложил «не бегает за деньгами» первой картой и знал, что бьёт.

И вот тут я ловлю себя. Злюсь я, оказывается, не там, где положено. Положено злиться на условие, на ребёнка по графику, на двух стариков, играющих в шахматы моей биографией. И я злюсь, конечно. Но под этой злостью, ниже, там, где обычно молчат, сидит другое, куда более неприятное чувство: условие не совсем абсурдно. Вот что бесит. Абсурд можно отбросить одним движением, как отбрасываешь спам. А это не отбрасывается. Оно цепляется.

Я перестраиваюсь на съезд. Фонари бегут по капоту жёлтыми полосами, гаснут, снова бегут.

Шлагбаум на въезде поднимается, узнав номер. Лифт узнаёт палец. Дверь узнаёт код. Всё меня узнаёт, техника у меня послушная, я её сам настраивал, и от этого узнавания квартира встречает так, как встречает вышколенный дом: молча, ровным светом дежурных ламп, которые я не включал.

За стеклом — Сити. Тот самый вид, за который я, если честно, и купил эти квадратные метры. Не за планировку, не за паркет — за окно во всю стену, за возможность стоять вечером и смотреть на город сверху, как смотрят на схему. Я его выбирал. Я стоял тут с риелтором, ещё в бетоне, без пола, и уже знал, что беру. Вид как аргумент.

Сейчас он какой-то слишком просторный. Огни горят, машины внизу ползут светящимися точками, всё на месте, и всё равно ощущение, будто в комнате чуть больше воздуха, чем нужно одному человеку. Как в квартире, из которой недавно кто-то съехал. Я снимаю пиджак, бросаю на спинку. Открываю ноутбук.

Работать я не собираюсь, просто это жест. Как некоторые закуривают. Экран будит меня своим ровным свечением, показывает вкладки, которые я не закрывал с утра, и я смотрю на них, ничего не читая. Пальцы лежат на клавишах и не набирают. Я думаю о женщинах. Не о какой-то конкретной, обо всех сразу, как о статистике.

Их было достаточно, чтобы вывести закономерность. Не все узнавали сразу. Некоторые да, у некоторых загорался в глазах тот особый огонёк, стоило им сложить два и два, и с этими было проще всего, потому что с ними всё было понятно с первого ужина. Но были и другие. Хорошие. Умные. Такие, с которыми хотелось. И они узнавали не сразу, постепенно, по деталям: по машине, по адресу, по тому, как официант в определённых местах наклоняется чуть ниже. И вот что я заметил: они менялись. Не грубо. Никто не бросался на шею. Просто в какой-то момент между нами появлялось что-то третье — расчёт, и оно садилось за стол незванным гостем и больше не уходило. Я научился замечать этот момент. Он всегда наступал. Вопрос был только на какой неделе. Я закрываю глаза и снова открываю. Огни за стеклом на месте.

Дело в том, и деду этого не объяснить, что я не против жениться. Совсем не против. Я тридцатилетний мужчина с квартирой, из которой недавно кто-то съехал, хотя никто в ней и не жил. Я против другого. Я против того, чтобы жениться на человеке, который женится на моих деньгах. Это, вопреки дедовой логике, не одно и то же. Это, вообще-то, противоположные вещи.

Но дед вырос в мире, где деньги и человек были неотделимы. Где ты — это твой завод, твоё положение, твоя фамилия на табличке. Где нельзя было полюбить отдельно от всего этого, потому что всего этого у людей просто не было. Было либо всё вместе, либо ничего. Он искренне не понимает, чего я привередничаю. Для него «она не бежит за деньгами» — это высшая рекомендация, потолок, дальше некуда. Он кладёт мне на стол лучшее, что у него есть, и не понимает, почему я смотрю на графин с коньяком. Я усмехаюсь в пустую комнату. Комната не отвечает.

Кандидатура. Хирург. Внучка Виктора Николаевича. Двадцать восемь, самостоятельная, за отцовскими деньгами не бежит.

Я пытаюсь её представить и не могу. В голове собирается что-то усреднённое, из деталей чужих людей халат, собранные волосы, ровный голос, которым сообщают диагнозы. Женщина-функция. Неправдоподобная именно своей правильностью, как фоторобот, в котором все черты по отдельности верны, а лицо не живёт. Я знаю, что это не она. Я знаю, что настоящий человек всегда неудобнее и интереснее любого фоторобота. Но пока у меня есть только фоторобот, и он мне не нравится, потому что за ним ничего нет.

И тут меня догоняет мысль простая, но почему-то раньше не приходившая. А ведь она сейчас тоже где-то сидит. Прямо в эту минуту. Своя квартира, своё окно, своя ночь. И её дед сегодня, наверное, тоже выставил коньяк, которого она не тронула, и произнёс свою версию «он не бежит за деньгами», перевёрнутую в её сторону. И она сейчас так же прокручивает разговор, ищет место, где можно было сыграть иначе, и думает про меня, что я самодовольный болван, которому старики нашли жену, потому что сам он, очевидно, не справился.

Мысль почему-то не злит. Она, наоборот, слегка примиряет. Есть что-то честное в том, что нас двоих одинаково загнали в один и тот же угол с двух разных сторон. Я закрываю ноутбук. Щелчок в тишине неприлично громкий.

Огни за стеклом никуда не делись. Город ползёт своими точками, самолёт мигает где-то высоко над Кутузовским, и я стою. Я оказывается, встал, сам не заметил, как, и смотрю на всё это сверху, как на схему, за которую и платил.

Решение приходит не как озарение, а как приходят рабочие решения, тихо, без фанфар, просто в какой-то момент понимаешь, что уже его принял. Не окончательное. Рабочее. Я поеду на Бали. Посмотрю. Не соглашусь, не откажусь, посмотрю. Если она такая же, как все, а вероятность высокая, то на второй день это станет ясно, и я вернусь с чистой совестью и сообщу деду, что не сработало. Если нет, тогда посмотрим. Тогда будет что обсуждать.

Это звучит как план. У плана есть входные данные, есть точка принятия решения, есть развилки. Планы меня успокаивают, в них нет коньяка, которого не тронул, нет трещины в уголках чужого рта, нет комнаты, в которой чуть больше воздуха, чем нужно. Я гашу свет. Город остаётся гореть за стеклом ему мой выключатель не указ.

* * *

Свет я погасил, но лечь не лёг. Постоял в темноте, будто человек, который вышел из комнаты и забыл зачем, а потом вернулся к бару и налил себе виски, того самого, японского, который держу для случаев, которых у меня не бывает. Наливаю на два пальца, беру бокал и иду к окну. Виски согревается у меня в руке, я делаю глоток, замечаю, что не почувствовал вкуса, и больше не пью. Просто держу. Как держат чужую руку в приличном обществе потому, что так надо, а не потому, что хочется.

Внизу Москва занимается своими делами. Ей плевать на меня, на деда, на коньяк, к которому я не притронулся, и на хирурга, которую я не видел. Огни на Кутузовском тянутся двойной нитью, красные от меня, белые ко мне, и в этом движении есть тупое, механическое утешение. Никто из них не решает сегодня, жениться ли ему по расчёту. Они просто едут домой.

Ночь — единственное время, когда я перестаю себе врать. Не полностью, на полную честность меня и ночью не хватает, но ровно настолько, чтобы признать простую вещь. Я хочу жениться по любви. И не потому, что это красиво не потому, что так пишут в поздравительных открытках и говорят на свадьбах люди, которые сами развелись. А потому, что у меня и так контрактов на три жизни вперёд. Инвесторы, партнёры, вендоры, сотрудники, налоговая все со мной в отношениях, у которых прописан предмет, срок и штрафные санкции. И если я к этому списку добавлю ещё и жену как строчку в договоре — не останется ни одного человека, с которым меня связывало бы что-то, кроме взаимной выгоды. А мне бы хотелось хотя бы одного. Для контрольной группы.

Смешно, что об этом думает человек, который сам сегодня набросал в голове план со входными данными и точкой принятия решения. Но план это чтобы не сойти с ума. А хочу я другого. Одно другому не мешает, они просто живут в разных этажах, и на ночном этаже сидит тот, кто хочет.

Я думаю о деде. Не о сегодняшнем, о том, который на старой карточке. Константин Александрович познакомился с бабушкой на танцах в клубе завода, и через три месяца они распались. Три месяца. Я за три месяца не всегда успеваю закрыть раунд финансирования, а он за это время решил, с кем проведёт остаток жизни, и не ошибся. Сорок два года. Я эту цифру знаю наизусть, потому что дед произносит её так, как другие произносят название любимого города. И до сих пор на рабочем столе, среди контрактов, печатей и чашки с остывшим чаем стоит её фотография в простой рамке. Не парадная. Она там смеётся, чуть отвернувшись, будто он сказал что-то, чего мне уже не услышать.

И вот что меня по-настоящему цепляет. Человек, который сегодня выкатил мне наследство как рычаг и произнёс «она не бежит за деньгами» голосом отдела кадров, этот же человек сорок два года держит на столе смеющуюся женщину. Значит, он что-то знает. Что-то, чего не знаю я. Или, и это версия, которую я предпочитаю, потому что она снимает с меня обязанность завидовать, ему просто повезло. Три месяца, танцы, послевоенная страна, где никто не спрашивал, кто чей внук и сколько у него на счетах. Может, любовь была проще, потому что мир был проще. А может, я просто трус, который называет чужое счастье везением, чтобы не признавать, что сам так не умею.

Ставлю бокал на подоконник. Виски оставляет мокрый круг на камне, единственный след, который я сегодня оставил в этой квартире. Ладно. Раз уж ночь честная, доведём до конца.

Я поеду на Бали. Это уже решено, я это решил час назад, стоя вот на этом же месте. Но теперь я понимаю, что именно я еду проверять. Не её. Себя. Я познакомлюсь с этой женщиной-хирургом, женщиной-фотороботом, с ровным голосом и собранными волосами, и буду смотреть на одну-единственную вещь. Мне безразлично, красива ли она, умна ли, приятна ли в быту. Мне важно, что делается с её лицом, когда всплывает тема денег. Их у меня достаточно, чтобы это стало заметно быстро. Если в ней хоть на миллиметр дрогнет то, что дрожит во всех, я это увижу и вопрос будет закрыт. Тогда я вернусь и найду способ отказаться от наследства так, чтобы дед не считал меня побеждённым, а я сам не считал себя дураком. Способ есть всегда, это вопрос формулировки.

Но если нет. Если ей действительно всё равно, вот тогда интересно. Тогда я готов рассматривать любой вариант. Любой. Я это проговариваю про себя медленно, взвешивая каждое слово, потому что «любой вариант» из моих уст звучит почти неприлично, я человек границ,

у меня всё в рамках. А тут открытая формулировка. И я оставляю её открытой сознательно. Отхожу от окна. Город остаётся гореть, я уже понял, что ему мой уход безразличен так же, как приход.

Иду через тёмную комнату, задеваю плечом косяк, тихо чертыхаюсь. И перед самой дверью в спальню меня настигает последняя за сегодня мысль, не важная, а именно такая, какие и приходят под конец, когда серьёзное уже сказано и голова разминается перед сном.

Хирург. Интересно, она оперирует с тем же выражением лица, с каким сегодня, наверное, слушала своего деда? Тот же ровный взгляд, та же не сдвигаемая складка у рта, руки в перчатках, тишина, в которой никто не спорит с ней, потому что она права. Стоит над человеком со скальпелем и над коньяком, которого не тронула, с одинаковым спокойствием профессионала, у которого всё под контролем.

Я усмехаюсь. И впервые за весь этот длинный, дурацкий вечер усмешка выходит не защитной. Не той, которой я отгораживаюсь от мира, а какой-то другой, почти тёплой, будто я усмехнулся не над ней, а вместе с ней. Над тем, что нас двоих одинаково поймали. И что она сейчас, может быть, думает обо мне ровно то же самое. Я закрываю за собой дверь.

Глава 2.

Она открывает глаза за пятнадцать минут до шести, и это не случайность, а факт, как показание монитора. Будильник в телефоне стоит на шесть ноль-ноль, но он ни разу не срабатывал за последние три года, тело просыпается само, за пятнадцать минут, будто внутри есть свой отсчёт, привязанный не ко времени суток, а к операционному дню. Сегодня операционный день. Значит, пять сорок пять.

Она лежит ещё несколько секунд, не двигаясь, и слушает себя так, как слушала бы пациента: пульс ровный, дыхание чистое, ночь прошла без задолженностей. Всё в норме. Она встаёт.

В квартире в Хамовниках прохладно, она не спит в тепле, тепло размягчает, а размягчённое тело хуже держит руку. Паркет отдаёт холодом босым стопам, и это приятно, как холод инструмента, который берёшь первым движением. Она идёт на кухню, не включая верхний свет. За окном ещё темно, по-февральски глухо, только фонарь во дворе прорезает воздух жёлтой полосой, и в этой полосе стоят голые ветки.

Кофе она варит в турке, на одну чашку, без сахара. Сахар тоже размягчение. Пока поднимается пена, она стоит у плиты, скрестив руки, и смотрит в стену, не думая ни о чём конкретном; мозг в этот момент похож на операционную перед началом, свет ещё не полный, инструменты разложены, но никто не вошёл. Она снимает турку ровно в тот момент, когда пена подходит к краю, ни секундой позже. Это она умеет делать с закрытыми глазами.

С чашкой она садится к столу, включает планшет. Медицинский журнал, свежий номер, статья по реконструкции после обширных резекций, немецкая методика, которую она хочет попробовать. Читает быстро, отмечая пальцем то, что стоит запомнить: два абзаца, одна схема. Потом открывает расписание. Сегодня три резекции и одна реконструкция. Первая — в восемь, значит, из дома в шесть сорок, в семь пятнадцать переодеться, в семь тридцать посмотреть снимки ещё раз, хотя она их уже знает наизусть. Всё расписано, всё встаёт в поля, как органы в грудной клетке — каждый на своём месте, ничего лишнего, ничего свободно болтающегося.

Она отпивает кофе, горячий, горький, и обводит взглядом кухню. Чашка. Турка. Полотенце сложено втрое и висит ровно. На подоконнике — ничего, потому что вещи на подоконнике собирают пыль и путают линию взгляда. В квартире вообще мало вещей; те, что есть, стоят так, чтобы их можно было найти в темноте, не задумываясь. Она не считает это аскетизмом. Аскетизм, это про отказ, а она ни от чего не отказывалась. Просто всё, что не работает на результат, отсекается. Как ткань, которую не оставляют, если она не будет жить.

Мать однажды сказала, стоя в этой кухне: «У тебя тут как в стерилизационной. Ни одной глупой вещи. Ни одной». Мать говорила это с той интонацией, где забота и упрёк слиты так плотно, что не разьять. Галина тогда ответила, что глупые вещи — это лишний вес, а лишний вес мешает. Мать посмотрела на неё долго и ничего не сказала, и это молчание было хуже любого ответа; она это молчание до сих пор помнит, оно лежит где-то на границе поля зрения, куда она старается не смотреть.

Она подносит чашку ко рту что бы допить кофе. Смотрит на часы над плитой: семь ноль восемь. Пора одеваться. И в этот момент звонит телефон.

Она смотрит на экран прежде, чем взять. «Виктор Николаевич». Семь ноль девять. Не рабочее время — дед никогда не звонит по делу до восьми, у него свой распорядок, такой же жёсткий, как у неё, только выстроенный не вокруг операций, а вокруг кабинета, встреч, людей, которых он двигает по своей карте, как она двигает инструменты. Значит, звонит не по делу. Или — по такому делу, которое для него важнее рабочего расписания.

Она отмечает лёгкое ускорение пульса — не сильное, на несколько ударов, — и тут же гасит его, как гасят кровотечение точечным нажатием. Тревога — непродуктивное состояние. Тревога — это адреналин, который не находит выхода в действии, а значит, просто циркулирует и мешает думать. Она не позволяет себе тревогу за операционным столом и не собирается позволять её на кухне, в семь ноль девять утра, из-за звонка деда.

Она берёт трубку на третьем гудке, не на первом, первый был бы слишком поспешным, — и подносит к уху.

— Да, — говорит она ровно.

И слушает.

* * *

— Галина — говорит дед, и по одному тому, как он произносит её имя, полностью, без уменьшительного, она понимает, что разговор будет не о самочувствии и не о том, приезжала ли она в выходные, как обещала. — Я тебя надолго не задержу. Знаю, у тебя утро.

Он не спрашивает, у неё ли утро. Он это утверждает, как утверждают то, что известно и учтено. Дед всегда учитывает чужое расписание — не из деликатности, а потому что расписание есть переменная, а переменные надо держать в поле зрения.

— Я слушаю — говорит она.

— Я изменил завещание.

Пауза. Не её пауза, его. Он делает её нарочно, оставляя место для реакции, которую ожидает получить. Она не заполняет это место. Стоит у плиты, чашка ещё тёплая под ладонью, семь ноль десять на часах.

— Условие простое — продолжает он, не дождавшись — Замужество. И ребёнок. В разумный срок. Всё остальное — по-прежнему на тебя.

Она отмечает про себя порядок слов. Не «я хочу, чтобы ты вышла замуж». Не «мне было бы спокойнее». Условие. Как в договоре поставки: срок, предмет, санкция за неисполнение. Санкция — лишение. Он не произносит слова «лишение», но оно и не нужно; оно вшито в саму конструкцию «всё остальное — по-прежнему».

— Есть молодой человек, — говорит дед. — Подходящий. Я всё устроил. Поездка на Бали через две недели, билеты уже взяты. Вы там познакомитесь, спокойно, без спешки. Отдохнёте.

Отдохните. Она смотрит на своё отражение в тёмном стекле дверцы духовки, размытый овал, ничего не разобрать. Отдых как деловая процедура с забронированным перелётом. Она молчит.

Молчит дольше, чем молчала бы обычно. Обычно она отвечает быстро. Быстрый ответ экономит время, а время она бережёт как расходный материал. Но сейчас ей нужно провести первичный анализ, а анализ требует тишины, и она берёт эту тишину, не объясняя.

Дед слышит в её молчании другое. Она это чувствует по тому, как меняется его дыхание в трубке — оно теплеет, в нём появляется довольство, почти нежность.

— Вот, — говорит он мягче. — Умница. Я знал, что ты поймёшь. Ты всегда умела считать.

Она не поправляет его. Пусть считает, что сосчитал за неё. Ей это ничего не стоит.

— Настя тоже так думает, — добавляет он, и вот здесь она делает первую внутреннюю пометку красным. — Мы с ней говорили. Она считает, что ты слишком долго живёшь одна. Что так нельзя. Женщине нельзя.

Мать. Он выкладывает мать на стол, как выкладывают дополнительный аргумент, когда других кажется недостаточно. Приём чистый, узнаваемый: не «я хочу», а «мы с твоей матерью». Двое против одной. Апелляция к тому единственному человеку, чьё осуждение проходит сквозь её защиту глубже, чем осуждение деда. Потому что мать не давит, мать смотрит долго и молчит, и это молчание она носит в себе годами.

Она фиксирует манипуляцию. Не озвучивает. Озвучить — значит дать понять, что укол достиг цели, а этого она не даёт никому.

— Он серьёзный, — говорит дед, возвращаясь к предмету, потому что почувствовал, видимо, что перегнул, и теперь подкладывает под условие материальное основание, как подкладывают опору под провисшую балку. — Внук Кости. Костю ты знаешь, мы с ним сорок лет. У него внук в этих ваших компьютерах, в искусственном разуме, что ли. Своё дело. Не голодранец, не альфонс, не из тех, кому от тебя чего надо. Ему самому есть что. Понимаешь? Я не абы кого.

Интонация человека, который делает одолжение и заранее знает, что одолжение оценят. В ней нет сомнения, только удовлетворение проделанной работой. Он подобрал, взвесил, проверил родословную, как проверяют поставщика перед крупным контрактом. Ему в голову не приходит, что подбирают вещи, а не людей; для него это и не разделено. Люди и есть вещи на его карте, только более дорогие и своенравные.

Она слушает и складывает параметры в поля. Возраст не назван, но раз внук Кости, значит, около её лет. Сфера IT. Обеспечен. Свой бизнес. Значит, времени немного, значит, встречи придётся вписывать в расписание, значит, логистика. Значит, задача имеет вводные, и вводные надо уточнить.

— Сроки? — спрашивает она.

Одно слово. Ей нужны параметры: сколько времени на исполнение, с какого момента отсчёт, что считается выполнением. Диагноз ставится по срокам не меньше, чем по симптомам. Она спрашивает про сроки так же, как спросила бы, когда пациента подадут в операционную. Дед выдыхает, с облегчением, с теплом. Он слышит в «сроках» согласие. Он слышит: она уже внутри, она уже планирует, она приняла.

— Не тороплю, — говорит он почти ласково. — Год. Год вам на всё. Это по-божески, Галина. Это очень по-божески.

— Хорошо, — говорит она. — Я поняла.

— Умница, — повторяет он. — Я в тебе не сомневался. Ну всё, иди, иди, оперируй.

Она кладёт телефон экраном вниз на столешницу. Семь одиннадцать. Кофе в чашке остыл. Она это понимает не по вкусу, а по температуре керамики под пальцами: тепло ушло, осталась просто гладкая холодноватая поверхность, ничем не отличающаяся от подоконника, от края раковины, от всего, что не греет.

Она смотрит на этот остывший кофе. За весь разговор дед перечислил всё: условие, срок, молодого человека, его происхождение, его состоятельность, мнение матери. Всё было учтено, всё легло в поля, ничего не осталось болтаться свободно. Кроме одного. За четыре минуты он ни разу не спросил, хочет ли она замуж. И, отмечает она с той же ровностью, с какой отмечала пульс, она сама не задала себе этого вопроса тоже.

* * *

Кухня в Хамовниках выстывает быстро — угловая, два окна, зимой не натопить. Галина ставит на стол лампу, ту, что переносит из спальни, когда нужен направленный свет, достает из ящика лист бумаги. Не тетрадь, не блокнот, именно отдельный лист, А4, чуть шершавый по краю. Экран для решений не годится. На экране всё кажется временным, обратимым, как черновик письма, который можно не отправлять. Бумага держит. Написанное от руки становится обязательством перед самой собой.

Она проводит вертикальную черту посередине. Слева пишет минус, справа плюс. Медленно. Почерк у неё мелкий, ровный, разборчивый. Так учат заполнять протокол операции, чтобы через десять лет любой понял, что делали и почему.

Слева колонка «против». Вторжение. Она не пишет «в личное пространство», она пишет просто «вторжение», потому что пространство и есть личное, другого нет. Дальше время. Встречи, появления на публике, семейные ужины, всё то, что придётся вписывать между сменами и дежурствами, вырезать из сна, из чтения статей, из тех редких вечеров, когда она ничего не должна никому. Дальше притворство. Играть роль. Держать лицо не восемь часов в маске над столом, а постоянно, при свидетелях, которые смотрят с интересом заинтересованной стороны.

И последнее. Она ставит точку, задумывается на секунду и выводит: риск вовлечённости. Подчёркивает. Отрывает ручку, подчёркивает ещё раз, второй чертой под первой. Из всех пунктов этот, единственный, который нельзя посчитать. Вторжение измеряется в часах. Время в часах. Притворство — навык, а навык осваивается. А это, переменная без единиц измерения, и именно поэтому её надо держать под двойной чертой, как отмечают в карте аллергию: крупно, чтобы никто, включая её саму, не проскочил мимо.

Справа. Колонка короче, она это видит сразу, ещё до того, как заполнит. В ней вообще один пункт, но пункт с цифрой.

Сумма. Дед не назвал её, но диапазон известен: она знает, чем владеет Виктор Николаевич, знает приблизительно, во что оценивается доля, которая при благоприятном исходе отойдёт ей. Она пишет цифру. Ту, что колебалась в её голове три года, всплывая в моменты, когда очередной инвестор вежливо объяснял, почему клиника частной хирургии — прекрасная идея, но слишком капиталоемкая для дебютанта без имени владельца на вывеске.

Клиника.

Она откидывается на спинку стула. Клиника — не мечта, мечты у неё вычищены, как поле перед разрезом. Клиника, это проект. Помещение под Третьим кольцом, три операционные, послеоперационный блок на восемь коек, свой стерилизационный цикл, а не аутсорс, потому что аутсорс, это чужие руки на твоих инструментах. Штат: два анестезиолога, которых она знает лично и которым доверяет пробуждать своих пациентов. Аппарат для интраоперационного контроля, тот самый, немецкий, за который в гос. больнице стоят в очереди по записи. Всё просчитано до расходников, до квадратных метров, до графика окупаемости на тридцать два месяца. Бизнес-план у неё лежит в облаке, третья редакция, вычитанная. Он безупречен. Он упирается ровно в одну строку — стартовое финансирование, и эта строка пуста три года. А теперь не пуста.

Вот что раздражает больше всего. Не дед с его тоном человека, делающего одолжение. Не то, что за четыре минуты разговора он ни разу не спросил, хочет ли она. Раздражает совпадение. То, как аккуратно чужой сценарий ложится в её собственный пробел — будто кто-то знал размер отверстия и выточил заглушку точно по нему. Она не верит в такие совпадения. В хирургии совпадений не бывает, есть недообследованный пациент. Галина смотрит на лист.

Слева четыре пункта, один из них подчёркнут дважды. Справа один, с цифрой. По количеству перевес слева очевиден. По весу нет. Три пункта слева она может нейтрализовать протоколом: вторжение ограничить регламентом, время распланировать, притворство свести к набору повторяемых действий. Остаётся четвёртый, подчёркнутый. Но риск, это не запрет, риск управляем. Любую операцию делают, взвесив риск против пользы и, если польза перевешивает, оперируют, несмотря на риск, а не отказываются из-за него.

Это не сентиментальное решение. Это арифметика. Слева больше строк, справа больше значения. Она знает, какая сторона выигрывает в таких уравнениях, та, где стоит цифра, ради которой три года не находилось ответа.

Мать сказала бы: Галя, речь о живом человеке, а ты его в столбик. Мать всегда говорит про живых людей так, будто их существование само по себе аргумент. Анастасия Викторовна одобрила, сказал дед. Конечно, одобрила. Ей достаточно, что дочь наконец окажется рядом с мужчиной, что там за мужчина и на каких условиях, второй вопрос. Галина отодвигает эту мысль, как отодвигают инструмент, который не понадобится на этом этапе. Она перечитывает лист ещё раз, сверху вниз, обе колонки. Ничего не добавляет. Ничего не вычёркивает. Потом складывает вдвое, ровно по вертикальной черте, так что «против» и «за» смыкаются лицом к лицу. Не рвёт. Рвут то, что отвергнуто. Она выдвигает верхний ящик стола, где лежат просроченные рецептурные бланки, запасные батарейки и старый пропуск в клинику, и кладёт лист туда, сверху. Задвигает ящик.

Решение не принято. Но направление вот оно, сложено вдвое и убрано, и она знает, что не выбросит его по забывчивости. Семь тридцать четыре. Кофе она так и не долила.

* * *

Ресторан называется «Черёмушки», хотя от Черёмушек до него сорок минут без пробок. Дед выбирает такие места, где официант знает, как его зовут, и приносит минеральную воду, не спрашивая какую. Здесь он хозяин, даже если платит по счёту, как все. Особенно если платит по счёту.

Галина приходит в шесть двадцать. Столик заказан на половину седьмого, и десять минут ей нужны, чтобы сесть правильно, спиной к стене, лицом к залу. Официант ведёт её к угловому, разворачивает стул удобной стороной, и она пересаживается на другой, тот, что упирается плечами в тёмное дерево панели. За спиной не должно быть пространства.

Дед приходит в шесть тридцать три. Пальто снимает на ходу, отдаёт кому-то, кого не видит, уверен, что рука подхватит. Рука подхватывает. Виктор Николаевич в хорошем настроении: это видно по тому, как он идёт, чуть покачиваясь на каблуках, будто под ним палуба, а не паркет. Он доволен. Доволен не встречей — собой.

— Хорошо выглядишь, — говорит он и садится. — Отдохнула бы, а то белая.

— Я всегда белая.

— Вот я и говорю.

Он раскрывает меню, но не смотрит в него. Заказ уже сложился у него в голове, меню — ритуал. Галина следит, как он проводит большим пальцем по краю страницы, довольный, ровный. Раздражает не план. К плану у неё колонка, лист, сложенный вдвое в верхнем ящике. Раздражает вот это самодовольство человека, который принёс ей подарок и заранее знает, что подарок хорош.

— Мальчик толковый, — начинает дед, когда официант отходит. — Костин внук. Своё дело, в этих ваших компьютерах. Сам поднял, не на дедовы. Умный, самостоятельный. Не из тех, кто будет у тебя на шее сидеть.

Галина складывает руки на столе. Отмечает про себя: когда продают исправную вещь, не перечисляют, чего в ней нет. «Не течёт, не скрипит, не отваливается» говорят про то, что течёт, скрипит и отваливается. Значит, где-то рядом есть те, кто садится на шею. Значит, у деда с этим мальчиком был разговор, в котором тема шеи возникла. Она не спрашивает какой. Пока только собирает.

— Костя — мой партнёр тридцать лет, — продолжает дед. — Друг. Семья правильная, я эту семью знаю вдоль и поперёк. За мальчика ручаюсь лично.

Вот оно. Не «хороший человек», «ручаюсь лично». Дед говорит о браке внучки языком, которым закрывают сделку: партнёр, семья, гарантия. Ему не жениха для неё нужно, ему нужен союз двух фамилий, скреплённый чем-нибудь понадёжнее контракта. Ребёнком, например. Галина держит лицо ровным. Слово «ребёнок» в разговоре ещё не прозвучало, но оно лежит на столе между приборами, и оба это знают.

Приносят воду. Дед делает глоток, ставит стакан точно на след от предыдущего.

— Ты понимаешь, — говорит Галина, — что я не собираюсь влюбиться.

Она говорит это не с вызовом. Ровно, как называют дозировку. Ей важно, чтобы это прозвучало сейчас, до того, как он вложит в неё какую-нибудь надежду и потом будет предъявлять счёт.

Дед смеётся. Коротко, тепло, откинувшись на спинку. Так смеются над ребёнком, который заявляет, что никогда не будет есть суп. Не над словами, над самой уверенностью, что тут есть что решать заранее.

— Ты сначала познакомься, — говорит он и снова тянется к воде.

И в этом смехе Галина слышит главное. Он не спорит с ней. Ему незачем спорить. Он знает лучше. Он сорок лет знает лучше, что кому нужно, кого с кем свести, где чья шея и чья шея крепкая. Её «не собираюсь» для него не позиция, а симптом, который пройдёт при правильном лечении. Она может выложить перед ним всю колонку «против», подчёркнутую дважды, и он кивнёт, и всё равно будет уверен, что делает ей добро.

Это хуже всего. Если бы он делал это ради денег, ради союза фамилий, — с таким было бы проще. С расчётом договариваются. Но дед искренне убеждён, что спасает её. Что вынимает из операционной, где она себя закопала, и ставит рядом с толковым мальчиком, и через год будет качать правнука и считать это своей лучшей операцией. Он не понимает, почему она сопротивляется. Ему в голову не приходит, что можно не хотеть того, что он для неё выбрал.

— Анастасия одобрила, — добавляет он, будто ставит печать. — Матери-то виднее.

Матери виднее, что дочь наконец окажется рядом с мужчиной. Остальные детали.

Приносят горячее. Дед ест с аппетитом человека, у которого всё сходится. Галина берёт вилку, но не притрагивается к тарелке. Она уже поняла то, за чем шла: это серьёзно. Не блеф, не проверка. Дед вложил, дед доволен, дед видит впереди правнука.

Она уходит первой, операция утром. У гардероба, застёгиваясь, она ловит своё отражение в тёмном стекле. Белая, да. И спокойная. Дед делает ей добро. От этого не легче ни на грамм.

* * *

Телефон загорается в половине десятого, когда Галина уже вытерла руки, разложила инструменты завтрашнего дня — не хирургические, обычные: ключи, пропуск, зарядку — на левом краю стола, там, где им положено лежать. «Мама» на экране. Она смотрит на надпись секунду дольше, чем нужно, и принимает.

— Галя. — Голос осторожный, вкрадчивый, как будто мать ступает по коридору, где половицы скрипят, и старается не разбудить того, кто спит. — Не поздно?

— Нет.

Пауза. Галина слышит на том конце петербургскую тишину. Другую, чем здесь. Ниже, глуше. Мать всегда звонит из кухни, всегда стоя у окна, всегда с чашкой, которую держит двумя ладонями, будто греется.

— Папа сказал, что говорил с тобой.

Не вопрос. Вернее, вопрос, замаскированный под сообщение. Галина слышит его так же ясно, как читает под фразой пациента «всё в порядке, доктор», уровень тревоги, скорость дыхания, то, о чём человек боится спросить прямо. *Ты как* здесь значит *ты согласилась*. И, чуть глубже, *скажи, что согласилась, мне так будет легче*.

— Говорил, — отвечает Галина.

— И ты как?

— Работаю.

— Я не про работу, Галь.

Разумеется. Про работу мать не спрашивает уже года три. Не потому, что не интересно, потому что боится услышать ответ, в котором нет ничего, кроме работы. Мать вздыхает. Не тяжело, она никогда не давит тяжело, у неё другой инструмент. Она обходит с фланга, через себя.

— Знаешь, я ведь тоже всё думала, что успею. — Керамика стучается о что-то, наверное, о край раковины. — Что вот сейчас доделаю, разберусь, и тогда. А оно как-то... не тогда. Оно

всегда сейчас, а ты всё откладываешь на потом, а потом приходит, и в нём уже никого. Работа — это хорошо, работа никуда не денется. А остальное — денется.

Галина стоит у стола, придерживая телефон плечом, и смотрит, как ровно лежат ключи. Мать говорит убеждённо, мягко, с той теплотой, от которой не отмахнёшься грубостью, и говорит, конечно, о себе. О своём «успею». О тех годах, которые она просидела в тени деда, а потом собрала чемодан и уехала в Петербург, потому что рядом с ним тоже нельзя.

— Ты умная у меня, — продолжает мать. — Всегда была умная. Только иногда, Галочка, слишком умная. Всё просчитаешь, всё разложишь, и выходит, что живого места не остаётся. Голова хорошая, а надо иногда и не головой.

Не головой. Галина едва не усмехается. Не головой она однажды попробовала — в ординатуре, давно, когда ещё казалось, что можно. Вышло ровно то, что выходит, когда оперируешь на глаз. Больше она не пробовала. Голова — единственный инструмент, который её ни разу не подвёл.

Она могла бы сказать это. Могла бы сказать, что мать описывает собственную жизнь и предлагает Галине её как рецепт, не заметив, что рецепт не сработал даже на авторе. Что «слишком умная» в устах матери означает всего лишь «не такая, как я хотела бы». Но спорить бессмысленно. Мать не изменит позицию, потому что позиция, это не мнение, это её незажившее. С таким не спорят. С таким соглашаются на словах и живут по-своему.

— Я подумаю, мама, — говорит Галина.

И слышит, как на том конце что-то отпускает — плечи, может быть, дыхание. «Подумаю» матери достаточно. Ей не нужно «да», ей нужно, чтобы дверь не была заперта. Чтобы можно было надеяться.

— Ну вот и хорошо, — говорит мать быстро, будто боится, что Галина передумает даже думать. — Ты только не сразу отказывайся, ладно? Просто посмотри. Ничего же не случится, если ты согласишься.

— Спокойной ночи.

— Спокойной. Ешь нормально. Ты опять худая, я по голосу слышу.

По голосу худая. Мать умеет и это. Галина кладёт телефон экраном вниз. В квартире тихо. Та особая тишина покоя, где каждая вещь на своём месте, потому что никому не мешает её туда поставить. Она подходит к окну.

Внизу Хамовники. Комсомольский тянется двойной ниткой фонарей, и свет их не белый, не жёлтый — какой-то усталый, оранжевый с прожелтью, как несвежий бинт. По проспекту редко, длинными паузами, проходят машины; одна тормозит на светофоре, стоит, хотя пусто, ждёт зелёного честно, никого. Дыхание оседает на стекле маленьким мутным овалом и тает.

Она разрешает себе секунду. Одну. Не считать, не взвешивать, не раскладывать «за» и «против» по колонкам. Просто стоять и смотреть на оранжевую нитку внизу, чувствуя, как остывает под ладонью подоконник.

Мать уехала в Петербург, чтобы держаться от деда подальше. Собрала чемодан, купила билет, поставила между собой и его «я лучше знаю» шестьсот километров и всё равно звонит сегодня его голосом, только тише. А Галина осталась в Москве. В получасе от него. Сама. Кто из них умнее та, что сбежала и не спаслась, или та, что не бежала вовсе? Овал на стекле затягивается снова. Галина отходит от окна, не додумав. Утром операция.

* * *

Половина двенадцатого. Галина возвращается к столу. Лист лежит там же, где она его оставила — под ноутбуком, чуть выглядывая уголком, как закладка в непрочитанной книге. Две колонки. Слева — «за», справа — «против». Она смотрела на них час назад и не додумала, отошла к окну и позволила себе секунду, которая ничего не решила. Секунды вообще ничего не решают. Решает то, что делаешь после. Она берёт ручку. Проводит вертикальную черту справа от второй колонки, ровно, по линейке взгляда, рука хирурга не дрожит и на бумаге. Сверху пишет: «условия».

Так честнее. «За» и «против» — детский способ думать, будто мир голосует и большинство побеждает. Мир не голосует. В мире есть данные, есть допущения и есть цена ошибки. Она это знает лучше, чем кто-либо, кто стоит по восемь часов у стола, где допущение стоит человека.

Я не собираюсь в этом раствориться.

Мысль приходит цельной, как готовый диагноз. Она знает, как выглядят женщины, которые входят в такие сделки и выходят из них другими. Размытыми, с чужими интонациями, привыкшие спрашивать разрешения. Мать вошла в брак с человеком, который «лучше знал», и до сих пор говорит его голосом за шестьсот километров. Галина не будет матерью. Схема — это операция: тыходишь с планом, держишь поле стерильным и выходишь тем же человеком, каким вошёл, только с результатом.

Для этого нужен не муж. Нужен грамотный ассистент. Тот, кто понимает регламент так же чётко, как она, иначе всё превращается в самодеятельность, а самодеятельность на операции убивает. Она начинает писать под словом «условия». Пункты, не фразы.

Умный. Первое и не обсуждается. С дураком нельзя договориться, с ним можно только надеяться, а надежда не инструмент. Умный считает так же, как она: видит выгоду, видит риск, не путает одно с другим.

Не sentimentalный. Ей не нужен человек, который на третьем месяце начнёт путать роль с чувством и приносить цветы по средам. Sentimentальность — это когда данные подменяют желаниями. На такого нельзя положиться: он в любой момент перепишет договор в своей голове, никого не спросив, и будет искренне обижен, что реальность не подстроилась.

Держит слово. Самое трудное. Ум и холодность встречаются чаще, чем верность договорённости. Ей нужен тот, для кого сказанное — обязательство, а не заявка о намерениях. Иначе это не сделка. Иначе это катастрофа, растянутая на год, с юристами в финале.

Она перечитывает три строки. Короткий список. Хороший список всегда короткий, как список противопоказаний, который держишь в голове, а не выуживаешь из справочника, когда пациент уже на столе. И тогда возвращается клиника.

Не абстрактно, не «когда-нибудь своё дело». Конкретно. Помещение на Остоженке, которое она смотрела полгода назад: второй этаж, бывшая стоматология, две операционных при минимальной перепланировке, окна на север — свет ровный, без бликов, именно то, что нужно. Она помнит цифру аренды, помнит, во что обойдётся вентиляция под чистые зоны, помнит цену на стол и лампу, на которых нельзя экономить, и цену на всё остальное, на чём можно. Первые три года без прибыли — это не пессимизм, это расчёт: репутация набирается пациентами, а пациенты приходят к тому, кто уже стоит, а не собирается встать.

Всё посчитано. Она считала это столько раз, что таблица встаёт перед глазами без ноутбука. И всё упирается в одну строку. В стартовый капитал, которого у неё нет и не будет за разумный срок на зарплату, даже её зарплату. Банк даст под залог, которого нет. Инвестор

захочет долю и голос, а голос в собственной операционной она не отдаст никому. Есть один способ. Он лежит перед ней на листе, под словом «условия».

Галина откидывается на спинку стула. Не радость, она не чувствует радости, это было бы неточно. Скорее то ощущение, когда план операции наконец сходится и ты видишь весь путь от разреза до шва, и он чистый. Она закрывает ноутбук. Мягкий щелчок магнита. Складывает лист вдвое, потом ещё раз, аккуратно совмещая края, и убирает в ящик стола.

Решение принято. Но она не называет его согласием. Согласие есть слово окончательное, а окончательного она себе не позволяет до операционной. Она называет его иначе. Рабочая гипотеза. Гипотеза, которую едут проверять.

В квартире совсем тихо. Тот же оранжевый свет с проспекта лежит полосой на потолке. Галина гасит лампу и ложится. Не сразу, сначала выравнивает подушку, потом одеяло, всё на местах, как всегда. Она едет на Бали не знакомиться.

Знакомятся те, кто ищет тепла, совпадения, чужой руки в темноте. Она не ищет. Она едет смотреть на материал. Оценивать: подходит или нет, годится в ассистенты или отсеять на входе. Данные, допущения, цена ошибки. Утром операция. Галина закрывает глаза.

Глава 3.

Кресло раскладывается в горизонталь одним касанием, но Алексей не откидывается, сидит прямо, как человек, который собирается работать и почти в это верит. Ноутбук на откидном столике, дашборд открыт. Обычно эти цифры он читает как ноты: конверсия по левому краю, удержание снизу, retention-кривая изгибается ровно там, где должна, и в этой геометрии есть покой. Он умеет смотреть на них полчаса и отдыхать.

Сейчас цифры лежат на экране как рассыпанная мозаика. Двадцать три процента, и он не помнит, чего двадцать три процента. Восемь тысяч сессий, восемь тысяч чего? Смысл не собирается; буквы и знаки есть, а музыки нет. Он щурится на график, будто виноват монитор, а не голова.

— Шампанское?

Стюардесса держит поднос под тем углом, под которым учат держать в дорогих школах, так, чтобы бокал сам просился в руку. Алексей берёт. Не потому что хочет, а потому что отказ потребовал бы объяснения хотя бы себе.

Он смотрит на бокал. Пузырьки поднимаются идеальными нитями, и в этой правильности есть что-то оскорбительное. Константин Александрович, думает он, именно так себе и рисовал эту сцену. Внук в бизнес-классе, летит через полмира навстречу, как дед наверняка сформулировал бы, без иронии, тяжёлым своим голосом, навстречу судьбе. С бокалом в руке. Дед вообще любит завершённые картины: чтобы всё было на местах, чтобы человек в кадре держал что-нибудь дорогое и был доволен. Алексей делает глоток. Судьба на вкус как приличное брют, чуть переохлаждённое.

Разговор с дедом крутится в нём третий день, и он уже выучил его наизусть, как выучивают неудачную сделку, чтобы понять, где именно упустил.

Дед не давил. В том-то и дело. Он говорил ровно, спокойно, с той расстановкой, с какой человек не убеждает, а информирует. «Тебе тридцать, Лёша». Пауза — короткая, аккуратная. «У Виктора внучка, врач, умница». Пауза. И потом это слово, перед которым дед выдержал такую крохотную остановку, что её мог заметить только тот, кто вырос рядом с ним и научился читать его дыхание. «Завешание». Не «я подумал». Не «мы с Виктором обсуждали». А как факт, уже случившийся, уже подписанный где-то в чужом кабинете, пока Алексей строил свою компанию и думал, что строит свою жизнь.

Дед не просил. Дед сообщал. Так сообщают о курсе доллара, можно не соглашаться, но это ничего не меняет. Алексей закрывает ноутбук. Мягкий сухой щелчок. Цифры всё равно не хотели складываться, а он не привык смотреть на то, что не поддается. Ладно. Раз голова не берёт продукт, пусть возьмёт это. Он разворачивает задачу так, как разворачивал бы любую другую, потому что по-другому не умеет и не хочет уметь.

Дано. Есть условие, жёсткое, бинарное: выполнить или лишиться. Есть срок, «в разумный», что на языке деда означает «не тяни». Есть ресурс, он сам, полностью в его распоряжении, надёжный, предсказуемый. И есть одна неизвестная переменная. Девушка. Внучка Виктора Николаевича, которую он никогда не видел и о которой знает ровно две вещи: умная и врач.

Переменную надо оценить. Не влюбиться, не понравиться — оценить. Как оценивают актив перед сделкой: что представляет собой, чего хочет, где у неё интерес, где риск. Всё остальное, сантименты. А сантименты в этом деле — статья убытков. Он делает второй глоток и впервые пробует достроить образ.

Умная. Врач. Хирург, кажется, или это он сам уже дорисовал. Значит, руки, точность, выдержка. Он представляет женщину лет под тридцать, собранную, с той усталой аккуратностью, какая бывает у людей, которые давно махнули рукой на всё, кроме работы. И тут же быстро, почти против воли, картинка достраивается сама, и достраивается в худшую сторону.

Потому что зачем умной женщине-хирургу лететь через полмира знакомиться с незнакомцем по указке деда? Вариантов, если честно, немного. Либо ей нужно то же, что, по замыслу дедов, должно достаться ему, и тогда она едет за деньгами, просто с другого конца стола. Либо её загнали в тот же угол, что и его, и она такая же жертва чужого сценария, летящая с таким же бокалом и таким же желанием, чтобы всё это поскорее закончилось.

Алексей ловит себя на этом и почти усмехается. Вот оно. Он ещё не увидел человека, а уже разложил его на две коробки, и в обеих не самый лестный вариант. Умеет, ничего не скажешь. Профессиональная деформация: всё, что приближается, сначала проверяется на то, чем оно может тебе навредить.

Он допивает шампанское, ставит бокал в углубление подлокотника. Внизу, под крылом, где-то очень далеко, темнота и вода, и лететь ещё половину ночи. Две коробки. Ладно. Прилетит посмотрит, в какую она укладывается. Он почти уверен, что в одну из двух она уложится обязательно.

* * *

Проблема не в том, что женщины подводили. Проблема в том, что они делали это по одному сценарию, и сценарий этот Алексей выучил наизусть раньше, чем захотел его знать.

Есть определённый момент. Он всегда наступает, не сразу, обычно недели через три-четыре, когда первое любопытство уже отработано, а привычка ещё не выросла. Момент, когда взгляд женщины на тебе чуть меняет фокус. Так наводчик перестраивает объектив: секунду назад он смотрел на твоё лицо, а теперь смотрит на то, что стоит за плечом. На вид из окна квартиры. На часы, которые ты снял и положил на тумбочку. На вскользь оброненную сумму. Ты ещё говоришь что-то про себя, а тебя уже пересчитали в другой валюте.

Он не любит слово «предательство», слишком театральное, слишком про чужую вину. Это не предательство. Это статистика. Он перебирает их без имён, как строки в отчёте, потому что имена делали бы это личным, а личного тут давно не осталось.

Первая. Умная, ироничная, читала то же, что и он, спорила красиво. Сдвиг случился, когда она узнала не сколько он зарабатывает, а какая у деда фамилия. Одно уточняющее «а это тот самый?..», и в глазах включился калькулятор. Она даже не заметила, что калькулятор слышно.

Вторая. Ничего не спрашивала вообще, играла в безразличие так старательно, что это само по себе было прайс-листом. Люди не изображают равнодушные к тому, что им и правда

безразлично. Он засёк её на том, как она фотографировала интерьер ресторана, не еду, не его, а интерьер, и понял, что это уже не свидание, а инвентаризация.

Третья была почти хороша. Почти. С ней он даже позволил себе на пару месяцев забыть про объектив. А потом она заговорила о будущем, легко, вскользь, и в этом будущем всё было расставлено по местам заранее: где жить, чья фамилия, кто с кем не общается. Слишком готовый план для человека, который якобы влюбился на прошлой неделе.

Каждый раз он замечал сдвиг раньше, чем она успевала его спрятать. Это единственное, чем он мог бы гордиться, если бы тут было чем гордиться. Он видел щелчок объектива за долю секунды до того, как женщина сама осознавала, что навела резкость. И каждый раз внутри что-то опускалось, не с грохотом, тихо, как лифт на цокольный этаж.

Отсюда правило. Оно короткое и звучит по-детски, если произнести вслух, поэтому он его вслух не произносит: жениться только по любви. Люди, услышав такое от него, умиляются — надо же, романтик под этой бронёй. Идиоты. Романтики тут ноль. Это чистая инженерия рисков. Брак без любви, это не грустно, это дорого. Это долгосрочный контракт с человеком, у которого есть доступ к твоим активам и юридическое основание половину из них забрать при выходе. Любовь в этой конструкции не поэзия. Любовь — единственная страховка, которую нельзя подделать документами. Если она есть с обеих сторон, контракт держится сам. Если её нет, рано или поздно кто-то предъявит счёт. Он делает медленный вдох и почти смеётся вслух, сухо, одними лёгкими.

Потому что дед. Дед, который знает его лучше, чем он хотел бы, дед, который слышал от него это самое правило не раз, теперь предлагает ему ровно обратное. Женись, говорит. По расчёту. С юридическими последствиями. С девушкой, которую ты не выбирал, ради денег, которые тебе, если честно, не так уж и нужны. Всё, чего Алексей десять лет избегал с тщательностью сапёра, дед просто выложил на стол и придвинул поближе: угощайся.

Круг замкнулся так аккуратно, что это даже красиво. Он всю жизнь строил защиту от женщин, которые придут за деньгами. А теперь ему предлагают самому прийти к женщине за деньгами. Поменяться местами. Встать по ту сторону стола, где стоят все те, кого он вычислял и отбраковывал.

Он поворачивает голову к иллюминатору. За стеклом ничего. Точнее, слишком много ничего: чёрное, ровное, без единой зацепки для взгляда, и где-то внизу, под этой чернотой, толща облаков, а под облаками вода. Ни огонька. Самая честная картинка за весь день.

И вот тут его настигает мысль, от которой становится почти легко, той горькой лёгкостью, с какой соглашаешься на неизбежное. Если она тоже едет за деньгами, они всё поймут в первую же минуту. Не будет ни ухаживаний, ни игры в объектив, ни этого выматывающего ожидания щелчка. Два человека сядут напротив друг друга, посмотрят и увидят одно и то же: расчёт, который не надо прятать, потому что он взаимный. Никакой лжи просто потому, что врать некому. Ей не понадобится изображать любопытство к его лицу. Ему не придётся ловить, когда её взгляд соскользнёт с него на то, что за ним. Впервые за весь перелёт это его не раздражает. Это его успокаивает. Он ставит бокал ровнее в углублении подлокотника и смотрит в черноту ещё немного. Лететь оставалось долго.

* * *

Бокал он всё-таки допивает. Ставит на поднос, и стюардесса уносит его беззвучно, как уносят из палаты то, что больше не нужно.

Алексей возвращает спинку кресла в вертикаль, кладёт ноутбук на откидной столик, будит экран. На нём привычная сетка дашборда, зелёные и красные столбики выручки по регионам, три вкладки с открытыми задачами, письмо от финдира, которое он так и не дочитал. Всё это вдруг кажется декорацией. Он сворачивает окна одно за другим, пока экран не становится чистым.

Открывает пустой документ. Белое поле. Курсор мигает в левом верхнем углу с той же периодичностью, с какой пульсирует лампочка «пристегните ремни».

Он печатает: ****охотница****. С новой строки: ****жертва****.

Смотрит на два слова. Между ними пустая строка. Он ставит курсор туда и добавляет третье, короткое: ****или****.

Получается почти уравнение. Или одно, или другое. Третьего он себе пока не выдаёт. Начинает с первого, с того, что понятнее.

Охотница знает про деньги. Не догадывается, не подозревает знает точно, потому что деды не тот сорт людей, что отправляют внуков вслепую. Ей сказали: внук партнёра, своё дело, IT, обеспечен. Она села в самолёт с этим знанием, как садятся на переговоры, изучив досье контрагента. Значит, она приедет играть. Будет любопытство к его лицу, ровно дозированное. Будет смех в нужных местах. Будет пауза перед ответом на неудобный вопрос, короткая, чтобы казалась искренней, но достаточная, чтобы прикинуть выгоду.

Алексей ловит себя на том, что описывает это почти с нежностью. С охотницей легко. Он знает этот тип до последней запятой, десять лет отбраковки не проходят даром. Правила понятны обоим, стол прозрачный, карты, по сути, на виду, даже если формально их держат в рукаве. С таким человеком можно строить контракт, потому что контракт его родная стихия. Никаких сюрпризов. Сюрпризы, это дорого. Он переходит ко второй строке.

Жертва — сложнее. Её тоже загнали в угол. Тот же дед, только её, с тем же завещанием наперевес, с той же уверенностью, что делает добро. Она не хотела ехать. Она едет злая на деда, на ситуацию, на самолёт, на него, Алексея, которого ещё в глаза не видела, но уже назначила соучастником. И вот это опасно. Не потому, что злость страшна сама по себе, а потому, что злой человек непредсказуем. У него нет ровной логики выгоды, которую можно просчитать. У него обида, а обида ведёт себя как незакрытая позиция на волатильном рынке: может отскочить куда угодно. С охотницей ты знаешь, чего она хочет. С жертвой ты не знаешь, что она сделает.

Он перечитывает оба абзаца, они только в голове, на экране по-прежнему три слова, и вдруг замечает, что схема слишком чистая. Слишком удобная. Две коробки, и в каждую он уже заранее знает, что положить. Курсор мигает под словом «или».

Есть ведь и третья коробка. Он это отлично понимает не хуже, чем понимает, что финдир прислал не одно письмо, а два. Нормальный человек. Не охотница, не жертва. Женщина, которая оказалась в ненормальной ситуации и ведёт себя в ней по-человечески, то есть непонятно, противоречиво, местами глупо, местами точно. Без досье в голове. Без назначенного заранее сценария.

Он смотрит на пустое место под «или», где эта третья строка должна была бы появиться. И не пишет её. Не потому, что забыл. Он видит эту пустоту так же ясно, как чёрный иллюминатор слева. Просто рука не двигается к клавишам. В охотнице и жертве он защищён, обе просчитываются, обе управляемы, обе оставляют его на своей стороне стола, наблюдателем. Третий вариант отбирает у него это место. Требуется посмотреть на человека, а не на тип. А смотреть на человека значит рисковать тем самым щелчком, ожидание которого выматывает его весь перелёт. Он это отмечает коротко, как отмечают у себя симптом, который решают не лечить. Замечено. Не исправлено. Оставлено как есть. Ладно. Стратегия не диагноз.

Первые сутки только наблюдение. Двадцать четыре часа без единого решения. Он не будет ни ухаживать, ни отбраковывать, ни строить контракт. Он будет смотреть: как она заходит в комнату, куда садится, что заказывает, когда её взгляд соскальзывает и куда именно соскальзывает, на его лицо или мимо. Даст ситуации проявиться самой, как плёнке. К концу первого дня станет ясно, с кем он имеет дело, и вот тогда можно решать. Хороший план. Ровный, без эмоций, с встроенной паузой перед действием. Всё, как он любит.

Алексей ещё секунду смотрит на три слова, ****охотница****, ****или****, ****жертва****, и на белое ничто под ними, где могло бы стоять четвёртое. Потом закрывает документ. Система вежливо спрашивает, сохранить ли изменения. Он выбирает «нет».

* * *

Дверь самолёта открывается, и Бали входит в лёгкие раньше, чем Алексей делает первый шаг по трапу. Восемь часов сухого, стерильного кислорода из вентиляции бизнес-класс и вдруг это: тёплая, плотная, живая масса воздуха, которая не входит в грудь, а обволакивает её, как влажное полотенце. Тридцать градусов, не меньше. Кожа немедленно покрывается тонкой плёнкой, рубашка на спине теряет всякий смысл.

Пахнет цветами и гниением одновременно, сладко и чуть тошнотворно, как в оранжерее ботанического сада, куда его водили в школе. Красиво и немного душно. Он помнит то ощущение: стеклянный купол, кислорода вроде бы много, а дышать нечем; орхидеи прекрасны, но за ними тёплая, тайная работа разложения, из которого эти орхидеи и растут. Здесь всё то же самое, только без стекла. Стекло убрали, и оранжерея оказалась размером с остров.

Он спускается, придерживая ноутбук под мышкой, и думает, что за восемь часов не убедил себя ни в чём. Три слова, которые он не сохранил, всё ещё стоят где-то за глазами.

Водитель у выхода из терминала держит табличку с фамилией, не его, а какой-то трансферной компании, но кивает именно ему, безошибочно. Машина прохладная, тихая, дорогая; кондиционер восстанавливает стерильную атмосферу салона, будто отматывает Бали назад. Водитель не говорит ни слова, только один раз оборачивается уточнить отель, и Алексей отвечает, и снова молчание.

За окном тянутся рисовые поля, разлинованные до горизонта, зелёные так, что глаз не сразу верит. Мимо проносятся мотоциклы, и на каждом по целой семье. Отец за рулём, между рулём и отцом ребёнок лет пяти, сзади мать, боком, в длинной юбке, а у матери на руках ещё один, совсем маленький. Четверо на одном скутере, без шлемов, без страха, вплетённые в поток так же естественно, как рыба вплетена в течение.

Алексей смотрит на них дольше, чем стоило бы. Все эти люди едут куда-то по собственной воле, думает он. Никто не выписывал им маршрут. Никто не менял им завещание. Женщина сзади держит младенца, потому что решила его держать, а не потому, что дед партнёра оформил условие мелким шрифтом. Мысль неприятная своей простотой. Он гонит её, но она возвращается на следующем светофоре, где рядом с их машиной останавливается точно такая же семья и мальчик лет пяти смотрит на тонированное стекло, за которым Алексея не видно, и всё равно машет.

Телефон вибрирует в кармане. Алексей достаёт его медленно, уже зная, не финдир, не рынок. В такое время суток на Бали в Москве ещё утро, и есть ровно один человек, которому важно, чтобы он долетел.

«Долетел? Галина уже там. Номер 412.»

Он читает три раза. Не потому, что сложно, потому что каждое слово чуть тяжелее предыдущего.

Долетел. Вопрос, на который дед не ждёт ответа; он уже знает, борт сел, у него наверняка есть кто-то, кто отслеживает борт. Галина уже там — имя, наконец имя, до этого была «внучка Виктора Николаевича», абстракция, коробка с надписью. Теперь Галина. И номер комнаты. Четыреста двенадцать.

Алексей смотрит на эти три цифры непозволительно долго. Дед написал не «познакомьтесь», не «она в вашем отеле», не «дай знать, как пройдёт». Дед написал номер её комнаты. Как координаты. Как строку в таблице, где всё уже сведено и осталось только совместить два поля.

Это забота, говорит он себе. Старик волнуется, старик хочет как лучше, старик искренне не понимает, почему внук едет на тропический остров с кислым лицом человека, которого ведут к стоматологу. В голове Константина Александровича это не сделка и не слежка, это

подарок. Он дарит внуку жизнь так, как умеет: с логистикой, с номерами комнат, с отслеженным маршрутом. И искренне обиделся бы, если бы Алексей назвал это контролем.

И всё же — четыреста двенадцать. Забота не знает номера комнаты за сутки до заселения гостя. Забота спрашивает; забота не выдаёт координат. Это забота и слежка одновременно, в одной строке, неразделимо, как сладость и гниль в местном воздухе. Одно растёт из другого, и не выдернуть.

Скорее всего и то, и другое, решает он. И перестаёт себя обманывать, будто эти вещи можно развести по разным коробкам. У деда они в одной. У него, если честно, тоже.

Он убирает телефон, не отвечая. Пусть Константин Александрович ещё немного поволнует, маленькая, детская, совершенно бесполезная месть, и Алексей это осознаёт, и всё равно ею пользуется.

Машина выходит на поворот, и за ним, внезапно, без предупреждения, открывается океан. Он огромный и слишком синий, чтобы быть настоящим, цвет, который в презентации назвали бы кричащим, а здесь он просто есть, до горизонта, с белой строчкой прибоя понизу. Первая мысль, честная и короткая, приходит раньше всякой иронии: красиво. Вторая приходит следом и гасит первую, как гасят свет в комнате, из которой уходят.

Он приехал сюда не за этим. Не за океаном, не за оранжерейным воздухом, не за семьями на скутерах, едущими по собственной воле. Он приехал в номер четыреста двенадцать. Точнее к тому, что в номере четыреста двенадцать. К человеку по имени Галина, которую дед уже вписал в его маршрут, как вписывают пересадку. Океан за окном никуда не денется. Он подождёт.

* * *

Номер оказывается больше квартиры, в которой Алексей прожил первые двадцать пять лет. Это первое, что он отмечает, переступая порог, не роскошь как таковую, а количество воздуха на квадратный метр. Стеклопанная стена от пола до потолка, за ней океан, тот самый, синий до неприличия, теперь ещё и разлинованный полосами вечернего света. Кровать размером с посадочную площадку. Каменный пол, прохладный даже сквозь подошвы. Кондиционер держит внутри собственный, независимый от острова климат, сухой, ровный, европейский. На столе цветы.

Он замечает их не сразу, а когда ставит ноутбук рядом. Два букета. Не один большой — два. Белые франжипани в приземистой вазе и второй, повыше, с чем-то оранжевым и хищным, названия чему Алексей не знает. Он смотрит на них, и до него доходит: один поставили бы в любой номер этого класса. Знак внимания отеля, строчка в смете. Но два, это уже сообщение. Два букета ставят паре. Мужчине и женщине, которым положено находить в такой мелочи повод для умиления. Дед позаботился об атмосфере. Алексей усмехается, коротко, себе под нос, без веселья. Заботливая рука тянется через полмира и расставляет реквизит. Ей, ему. Симметрично. Он вспоминает ресепшн. Девушка в саронге цвета чая, идеальный английский, тёплое «добро пожаловать», ключ-карта в конвертике. И уже когда он отворачивался, вдогонку, буднично, как про завтрак:

— Ваш дедушка просил передать, что ужин в восемь. Ресторан на террасе.

Он остановился. Переспросил, не потому что не расслышал, а потому что фраза не помещалась.

— Какой дедушка?

Она улыбнулась так, будто вопрос был кокетством.

— Константин Александрович.

Имя, произнесённое с балийским акцентом, прозвучало как название горного массива. Далёкое, эпическое, чужое. И совершенно точное. Алексей кивнул, взял карту и ушёл, не дав себе среагировать лицом. Внутри что-то тихо встало на нужное место, с щелчком, каким закрывается хорошо подогнанная крышка. Дед был здесь до него. Не физически, но был.

Он подходит к окну. Внизу, между пальмами, бассейн, слишком правильной формы, чтобы напоминать воду; скорее выкладка на витрине. Вдоль бортика шезлонги, на них люди. Он считает: женщина под широкой шляпой, двое мужчин с одинаковыми загорелыми животами, пара помоложе, ещё кто-то в тени навеса, не разобрать. Отпускники. Обычные, размякшие, платившие свои деньги за право ничего не делать. И всё же он стоит и смотрит на них дольше, чем стоило бы.

Кто-то из них здесь не случайно. Не обязательно все, не обязательно даже кто-то конкретный из этих, но принцип. Дед не тот человек, который отпускает событие в свободное плавание. Дед вообще не верит в случай; для него случай это просто зона, которую пока не взяли под контроль. Значит, где-то на этом периметре есть глаза. Кто-нибудь с телефоном, кто-нибудь у стойки, кто-нибудь из этих размякших под шляпами. Человек, который вечером напишет: приехал, заселился, один. Или не напишет, просто отметит галочкой в таблице.

Абсурднее всего то, что Алексей не может на это по-настоящему злиться. Он сам так работает. Он тоже не любит белых пятен в данных. Он отходит от окна и садится на край кровати. Матрас принимает его почти без сопротивления, дорогой, послушный.

Масштаб доходит до него постепенно, как холод от каменного пола сквозь носки. Дело не в билетах. Билеты, это чепуха, это дед мог бы сделать не глядя. Дело в том, что старик выстроил декорацию. Целиком. Номер с видом, от которого положено размякнуть. Два букета, намёк на пару прежде, чем пара существует. Ужин в восемь, на террасе, чтобы всё было красиво, чтобы закат работал на сценарий. И где-то в этом же отеле, в номере с цифрами четыреста двенадцать, второй участник, которого точно так же завели в декорацию, поставили в свет и, вероятно, точно так же снабдили двумя букетами.

Это не знакомство. Знакомство, это когда два человека случайно оказываются в одном пространстве и им либо интересно, либо нет. Здесь пространство построено. Свет выставлен. Мизансцена готова. Осталось выйти актёрам и сыграть то, ради чего их привезли. Алексей достаёт телефон. Экран показывает время, половина шестого, и непрочитанное от деда, то самое, с номером комнаты. Он держит телефон в руке и взвешивает две тяжести.

Одна: набрать Константина Александровича прямо сейчас. Спокойно, без сцены. Сказать — дед, спасибо за отель, но я передумал, завтра улетаю, а условия твоего завещания оставь себе. И положить трубку раньше, чем старик успеет включить свой голос, тот самый, которым он не приказывает, а объясняет, отчего ты неправ. Уехать. Вернуть себе строку в собственной таблице.

Другая, легче на вес, но почему-то не сдвигается: остаться до ужина. Дойти до террасы в восемь. Просто посмотреть. Не на океан, не на закат, который дед оплатил вместе с номером. На человека из четыреста двенадцатого. Один раз, из любопытства, которого он себе не разрешал с самого борта. Он сидит с телефоном довольно долго. За окном свет из золотого становится медным. Потом кладёт телефон экраном вниз на тумбу, не позвонив, встаёт и идёт в душ. Решение он не принял. Но, снимая на ходу рубашку, отлично понимает, в какую сторону только что качнулся.

* * *

Терраса выдаётся над водой, как ложа, из которой удобно смотреть, но нельзя выйти незамеченным. Столики расставлены редко так, чтобы каждый чувствовал себя единственным, но при этом на виду. Свечи горят в стеклянных цилиндрах, чтобы их не задувало, и от этого пламя стоит ровно, без дрожи. Дальше океан, уже почти чёрный внизу и ещё медный у самой линии, где солнце дотлевет, оставляя после себя ту самую полосу, за которую в интернете ставят лайки.

Дед выбирал локацию с умом, думает Алексей, останавливаясь у входа. Здесь физически трудно быть злым. Всё сделано против злости: тёплый камень под ногой, запах жасмина, который не запах, а решение дизайнера, звук волны, размеренный, как метроном для дыхания.

Ты приходишь сюда с готовой речью о том, что не позволишь собой распоряжаться, а тебе подставляют бокал и закат, и речь начинает казаться дурным тоном. Он оглядывает террасу, не спеша, как оглядывают переговорную перед встречей. За столиком у самых перил сидит женщина. Одна.

Он замечает её раньше, чем успевает решить не замечать. Прямая спина, не выправка, а привычка так держаться. Она смотрит на воду. Не на телефон, который лежал бы экраном вверх, подсвечивая лицо; не по сторонам, кого бы поймать взглядом. Просто на воду. Затылок, линия плеч, бокал, к которому она, кажется, не притронулась, и всё. Алексей отводит глаза первым, как будто это он тут сидел, а она вошла.

Его собственный столик метрах в пяти, ближе к стене, откуда видно всех и вход. Он садится так, чтобы сидеть спиной к камню, лицом к террасе. Привычка, за которую над ним смеялись партнёры: всегда садиться против двери. Подходит официант, молодой, вышколенный, с той улыбкой, которая ничего не значит и потому не раздражает.

— Воду, — говорит Алексей. — Без газа. И пока всё.

Он не смотрит на женщину напрямую. Он смотрит на океан, на свечу, на меню, которое не собирается читать, и краем зрения держит её, как держат в поле периферии индикатор, который не должен мигнуть. Она не оглядывается. Не ищет взглядом дверь. Не поправляет волосы жестом человека, который вот-вот кого-то ждёт и хочет быть застигнутым в выгодном свете. Ни разу.

Это не поза. Позу он узнал бы. Позу он видел много раз, старательное безразличие, выстроенное специально для того, чтобы его заметили и оценили. Тут другое. Тут настоящее отсутствие интереса к тому, кто войдёт. Как будто человек приехал сюда по своему делу и терраса ему нужна ровно на то, чтобы посидеть у воды, а всё остальное — фон.

Официант возвращается к ней с чем-то, не с блюдом, с вопросом. Наклоняется, говорит негромко. Она поворачивает голову, отвечает коротко, кивает. Слов Алексей не слышит — далеко, да и волна съедает. Но он видит жест. И жест ему говорит больше, чем услышал бы разговор. Она не улыбается официанту. Алексей делает глоток воды и ставит стакан на стол чуть медленнее, чем нужно. Вероятно, это не она, думает он. Он даже почти уверен, что не она.

Логика простая, и он прогоняет её быстро, как знакомый алгоритм. Человек, которого дед, или второй дед, партнёр, чужой ему старик, завёл сюда по той же схеме, что и его самого, должен быть в одном из двух состояний. Либо нервным: переключать телефон, дважды перечитывать сообщение, ловить каждого входящего взглядом — она? он? Либо старательно спокойным, что ещё заметнее, потому что спокойствие, которое строят, всегда чуть-чуть натянуто по краям. А эта просто спокойная.

И разница есть. Огромная. Между тем, кто держит лицо, и тем, кому держать нечего. Первое видно за версту, второе — почти невозможно подделать. Он сам умеет держать лицо, и именно поэтому знает, как это выглядит изнутри и снаружи.

Значит, не она. Значит, где-то ещё бродит по отелю четыреста двенадцатый номер, с двумя букетами и правильно натянутой улыбкой, и сейчас войдёт на террасу и всё испортит.

Он почти успокаивается на этой мысли. Почти позволяет себе то любопытство, которое не разрешал с борта, смотреть на женщину у перил не как на участницу схемы, а просто как на человека, который умеет сидеть у воды, не доставая телефон. Редкое умение. Он его уважает. Официант возникает у его столика бесшумно.

— Прошу прощения. — Наклоняется, вполголоса, как заговорщик поневоле. — Ваш столик объединён по просьбе Константина Александровича.

Пауза длиной в удар волны. Алексей поворачивает голову к перилам. Она уже смотрит на него.

Секунда, не больше. Ровно столько, чтобы он успел увидеть, что она увидела то же самое: что всё построено, что свет выставлен, что метроном волны работает не на них, а на сценарий.

В её взгляде нет ни испуга, ни готовности понравиться. Есть узнавание, холодное, точное, как у человека, который смотрит на диагноз и уже знает название. Они отводят глаза одновременно. Оба к океану.

Глава 4.

Шесть вечера, жара стоит стеной. Не жара даже — влажность, плотная, липкая, как воздух в операционной, когда полетела вентиляция и хирург дорезает при закрытых окнах, потому что открыть значит впустить сентябрьских мух. Галина спускается на пляж по деревянному настилу, и подошвы прилипают к доскам едва заметно, на долю секунды. Дерево пропитано ночной сыростью, ещё не высохло, отдаёт под ногой той особой мягкостью размокшего волокна, которую замечаешь, только когда всё вокруг слишком тихо. Никто в здравом уме не выходит к воде в это время. Значит, самое время.

Она не спала. Не то чтобы совсем — задремала часам к четырём, поверхностно, как дежуришь на сутках: тело отключается, а какая-то диспетчерская внутри продолжает перебирать переменные. Всю ночь перебирала. Раскладывала одно и то же на составляющие: условие деда, сроки, человека, которого никогда не видела, и собственную готовность рассмотреть этого человека как строку в смете. Ничего нового к утру не появилось. Только усталость — ровная и предсказуемая, как гул кондиционера за стеной, к которому перестаёшь прислушиваться.

Она здесь не отдыхать. Отдых — категория для людей, у которых есть что восстанавливать; у неё есть только план и дефицит стартового капитала в этом плане — единственная пустая графа, которую три года не удаётся закрыть. Она здесь собрать анамнез. Посмотреть на пациента до того, как трогать инструменты. Умный. Не сентиментальный. Держит слово.

Три пункта. Галина ловит себя на том, что мысленно проговорила их той же интонацией, какой отбирает ассистентов в операционную. Руки чистые, реакция быстрая, не паникует, когда давление падает. Не мужа выбирает — второго номера себе в бригаду. Она отмечает это несоответствие спокойно, без стыда, как отмечают лишний звук в работе сердца: не диагноз, а факт, требующий внимания. Стыдиться некогда. Стыд, это тоже эмоция, а эмоции она давно научилась убирать в контейнер и закрывать крышкой до конца смены. Смена, судя по всему, начинается сейчас.

Она идёт вдоль воды, но смотрит не на воду. Смотрит на отель за спиной, вполоборота, будто высматривает свободный лежак. Официант у бассейна протирает столик, который уже протирали. Второй раз за пять минут, Галина засекла. Движения правильные, но взгляд неправильный: не на тряпку, не на стол, а поверх, в её сторону и чуть мимо, тем расфокусированным периферийным зрением, каким наблюдают, делая вид, что не наблюдают. Женщина в кресле под пальмой держит раскрытую книгу. Держит красиво, на весу. Страница не перевернулась ни разу с тех пор, как Галина спустилась. Двадцать минут одна страница — либо очень сложный текст, либо декорация.

Декорация. Галина фиксирует это без раздражения, почти с уважением к тому, кто ставил свет. Дед Константин — она мысленно называет его так, выстроил сцену тщательно. Наблюдатели, объединённые столики, ужин в восемь. Всё это значит одно: их будут смотреть. Не только они друг друга — их обоих, в четыре чужих внимательных глаза, и каждый жест пойдёт в отчёт. Хорошо, что она знает это заранее. Плохо, что человек напротив, кем бы он ни был, тоже наверняка это знает. Двое, которые знают, что за ними следят, ведут себя иначе, чем двое, которые не знают. Она вносит поправку в модель.

Место она выбирает так, как выбирала бы позицию у стола: подальше от террасы, откуда, если она правильно понимает логистику, выведут вечером её визави, и в тени, у самой линии, где мокрый песок переходит в сухой. Отсюда виден весь фронт — настил, бассейн, дальний край террасы, тропа от корпусов. Она сама, в тени навеса, почти не видна. Сначала смотришь.

Всё смотришь, что можно увидеть, прежде чем сделать первый разрез, потому что второго шанса посмотреть уже не будет: рана открыта, кровит, времени нет. Здесь времени пока много. Две недели. Она проведёт их, смотря.

Галина садится. Песок под тенью прохладнее, чем на солнце, единственная прохлада на всём этом острове, и она почти физически благодарна ей за это. Она ставит локти на колени и наконец позволяет себе повернуться к океану.

И контроль на секунду, на одну, она сама не разрешала — слегка проседает.

Не потому, что красиво. Красиво — тоже категория, её можно разложить: угол света, цвет воды, ритм прибоя, всё поддаётся описанию. А это не поддаётся. Океан слишком большой. Он не помещается ни в одну рамку, которую она умеет строить, у него нет краёв, нет структуры, которую можно проговорить и тем обезвредить. Он просто есть, огромный и безразличный, и от этого безразличия внутри что-то отзывается неприятной, тянущей нотой, будто задели то, что задевать не следовало.

Это раздражает. Раздражает так же, как раздражает пациент, у которого симптомы не складываются в понятную картину: вроде всё описано, а диагноза нет. Галина отводит взгляд от горизонта туда, где вода бьётся о песок метрах в трёх. Здесь есть край, здесь есть ритм, это можно считать. Волна. Пауза. Волна. Как метроном. Как пульсоксиметр.

Она заставляет дыхание совпасть с этим ритмом. Волна на вдохе, откат на выдохе. Через минуту тянущая нота внутри стихает, крышка контейнера возвращается на место с почти слышимым щелчком.

Шесть двадцать. До ужина полтора часа. Достаточно, чтобы собрать почти всё.

Галина сидит в тени, спиной к отелю, лицом к воде, которую невозможно систематизировать, и ждёт.

* * *

Он появляется со стороны главного корпуса минут через сорок, и первое, что отмечает Галина, направление. Не туда, куда идут все. Не к бассейну, где официант расставляет лежаки геометрически ровно, не к тени навесов, где сидят с книгами и коктейлями, а по диагонали, наискось через настил, к самой кромке воды, туда, где мокрый песок и волна сглаживает след.

Она замечает траекторию раньше, чем лицо. Человек, который ищет угол с обзором, движется иначе, чем человек, который ищет, где прилечь. Первый выбирает точку, второй — комфорт. Этот выбрал точку. Он останавливается метрах в двадцати от неё, ближе к воде, и разворачивается вполоборота так, что перед ним оказывается весь фронт: настил, бассейн, тропа от корпусов, дальний край террасы. Ровно то, что перед ней. Она отмечает это без удовлетворения, скорее с досадой: удобных позиций на этом пляже, значит, две, и обе теперь заняты. Одна и та же логика привела их в одну и ту же точку.

Осмотр она проводит быстро, как проводит его над столом, сверху вниз, снимая слои. Возраст: около тридцати, ближе к тридцати, чем к тридцати пяти, лицо ещё без второго подбородка, без сетки у глаз, но уже без юношеской мягкости. Осанка человека, который не думает об осанке, не выправка, не сутулость, а нечто нейтральное, свободное; так стоят люди, которым не приходилось стоять по стойке смирно и не приходилось прятаться. Одет без демонстративности: льняная рубашка, шорты, ничего, что кричало бы о цене, но и ничего, что кричало бы об экономии. Это может быть вкус. Это может быть безразличие. Отсюда не различить — ставит пометку: уточнить.

Телефон в руке. Она следит за телефоном особенно внимательно, потому что телефон — это диагностический признак. Человек, которому нечем себя занять и который тревожится, смотрит в экран. Этот держит его в опущенной руке и не смотрит. Смотрит на воду. Ту самую воду, которую она уже пыталась и не сумела уложить в рамку. Ему, кажется, это не мешает.

А потом она понимает, что это он. Не по внешности — дед не описывал внешность, дед вообще ничего толком не описал, кроме «из IT, своё дело, обеспечен». Она понимает по

другому. По тому, как его взгляд, оторвавшись от горизонта, идёт не бесцельно, а по маршруту. Останавливается на официанте у бассейна на секунду дольше, чем нужно, чтобы просто скользнуть. Переходит на женщину с книгой в дальнем шезлонге. Ту, что не переворачивает страниц слишком долго. Затем на человека у стойки бара, который вроде бы протирает стаканы. Он их считает. Он проверяет, кто здесь для декорации, а кто наблюдатель. То же самое, что делала она сорок минут назад.

Двое, которые знают, что за ними следят, ведут себя иначе, чем двое, которые не знают. Она внесла эту поправку ещё утром. Теперь поправка подтверждается: он тоже знает. Узнавание приходит без слов, без представления, без единого жеста в её сторону. Просто она видит человека, занятого той же самой работой, и работа выдаёт его вернее любого рукопожатия.

Первый вывод она формулирует сухо, для внутреннего протокола. Не идиот. Идиот пришёл бы к ужину, сел бы, где посадят, и не заметил бы половины комнаты. Этот пришёл за двенадцать часов и первым делом пересчитал зрителей.

Второй вывод: знает, что его смотрят. Значит, всё, что он покажет за ужином, будет показано с оглядкой на камеру. Как и всё, что покажет она. Двое актёров, знающих о съёмке, это сложнее, чем один. Это либо честнее, либо лживее в разы, третьего пока не видно.

Третий вывод даётся тяжелее, потому что тянет за собой неудобное следствие. Он готовился. Пришёл раньше, выбрал позицию, провёл рекогносцировку, точь-в-точь как она. И вот тут развилка. Либо перед ней человек трезвый, осторожный, привыкший считать риски, и тогда с ним можно иметь дело, потому что с трезвыми договариваться проще, чем с романтиками. Либо перед ней опытный манипулятор, который умеет выглядеть трезвым и осторожным, потому что это располагает. Разница между этими двумя огромна, а внешне они неотличимы. Она ставит обе версии в столбик и не выбирает. Рано. Она видела его четыре минуты.

Он поворачивает голову.

Не резко, не спохватившись — плавно, продолжая свой маршрут по фронту, будто её тень под навесом была просто следующей точкой в списке, которую полагается проверить. И взгляд находит её. Не соскальзывает дальше, как соскользнул с официанта и с женщины с книгой. Останавливается.

Три секунды. Она их считает, как считает пульс, не глядя на часы, телом. Он смотрит на неё, она смотрит на него, и никто не делает вежливого движения, которым обычно гасят случайно пойманный чужой взгляд. Не отводит глаза, не кивает, не улыбается той дежурной полуулыбкой, что означает «извините, я не нарочно». Он не отворачивается. И она не отворачивается. Не из вызова, ей просто незачем. Отвернувшийся первым признаёт, что его застали. А её застали ровно настолько же, насколько застали его.

Волна накатывает и откатывает где-то на границе слуха. Три секунды кончаются. Они отводят глаза одновременно. Ни один не выиграл, ни один не проиграл, и от этого равновесия внутри что-то сжимается — не тревога, а узнавание другого рода: так смотрят друг на друга двое, загнанные в один и тот же угол, каждый из которых только что понял, что второй не спасение и не добыча, а такой же зверь у той же стены.

* * *

Он не идёт к ней так, как ходят к женщине, с которой предстоит знакомиться. Не оправляет ворот, не сбавляет шаг у навеса, не примеряет улыбку. Он просто пересекает террасу по прямой, будто это участок его собственного маршрута, и опускается на соседний шезлонг. Тот, что стоит под тем же навесом, в полутора метрах, с видом человека, который просидел здесь всё утро и вот отлучался за водой.

Разрешения он не спрашивает. Но и не садится вплотную, не занимает пространство телом, не облокачивается на спинку так, чтобы она почувствовала себя обязанной подвинуться. Он садится ровно на своей стороне линии, которую сам же и провёл. Галина отмечает это в протокол отдельной строкой: не давит, но и не заискивает. Интересно.

— Хороший отель, — говорит он, глядя не на неё, а на воду.

Она поворачивает голову ровно настолько, чтобы это считалось ответом.

— Дорогой.

— Это не одно и то же.

— Да.

Волна разворачивается на песке и уходит. Первый обмен закончен, и оба знают, что он был не про отель. Он бросил слово, как бросают монету на прилавок, проверить, зазвенит ли настоящим. Она ответила ему тем же металлом. Оба услышали. Оба сделали вид, что говорили про пятизвёздочный сервис и цену за ночь.

Галина складывает руки на коленях. Умеет слышать подтекст — плюс. Но плюс осторожный, потому что умение слышать подтекст ровно так же принадлежит трезвому человеку и манипулятору, и разница снова уходит в её нерешённый столбик.

— Как добрались? — спрашивает он.

Тон лёгкий, необязательный, из тех вопросов, что задают в лифте. Но она слышит под ним второй, настоящий: давно ли ты тут, успела ли осмотреться, что ты уже знаешь про это место и про меня. Он спрашивает не про самолёт. Он спрашивает, сколько ходов она сделала до его прихода.

— Нормально, — говорит она. — Прямой рейс. Заселилась днём.

Ровно столько, сколько он спросил вслух. Ни минутой раньше, ни словом больше. Ни про то, что стояла у этих самых перил и считала его перемещения по фронту, ни про наблюдателей, которых он высматривал и которых, судя по всему, высмотрела и она. Она отдаёт ему буквальный ответ и смотрит, как он его примет.

Он принимает без тени раздражения. Не подаётся вперёд с уточнением, не роняет паузу, в которую полагается досыпать подробностей. Кивает, будто получил ровно то, что заказывал. И это тоже плюс, и снова с оговоркой: человек, привыкший к скупым ответам, не давит, потому что знает — давление скупость только затягивает. Такому опыту неоткуда взяться у наивного.

— А чем занимаетесь? — спрашивает она.

Вопрос не из вежливости. Ей неинтересна его сфера как таковая. Ей интересно, как он говорит о деле, потому что как человек говорит о своём заработке, так он и относится к деньгам, а как он относится к деньгам — важнее всего остального, что он может сказать о себе за этот вечер.

— Софт, — говорит он. — Своё. Небольшое.

И всё. Ни оборота, ни продукта, ни того полуабзаца, которым мужчины обычно объясняют незнакомой женщине масштаб своей значимости. Ни одной цифры. Он не сказал «мы обслуживаем», не сказал «оборот», не сказал «недавно закрыли раунд». Небольшое. Своё. Точка.

Это большой плюс, и она едва не ставит его в столбик с восклицательным знаком — и вовремя себя останавливает. Потому что в ту же секунду замечает второе. Он тоже смотрит на неё. Не на воду. На её лицо, коротким боковым взглядом, тем самым, каким проверяют реакцию. Он бросил ей «небольшое» и следит, дрогнет ли что-нибудь: разочарование, что мало, или, наоборот, оживление, что скромничает, значит, на деле много. Он ждал этот вопрос. Он приготовил на него самый пресный из возможных ответов и расставил под ним ловушку для её глаз.

Галина не даёт лицу ничего. Ни разочарования, ни оживления. Она просто кивает, как кивнул он минуту назад, приняла заказанное. И где-то под рёбрами что-то тихо становится на место: значит, для него вопрос про деньги не праздный. Значит, он проверяет её ровно на то, на что она пришла проверять его. Двое, которые обыскивают друг друга у одной и той же стены.

Наступает тишина. Не неловкая — обоюдная. Он смотрит на воду, она смотрит на воду, и никто не спешит заткнуть паузу лишним словом, потому что оба понимают: лишнее слово сейчас выдаст больше, чем молчание.

Он понимает, зачем мы здесь, думает она. Я понимаю, зачем мы здесь. Он знает, что я понимаю. Я знаю, что он знает. И при всём этом мы полчаса разыгрываем двух посторонних, которых случайно свёл шезлонг. Она честно взвешивает, что это. Профессионализм — умение держать роль до сигнала, не сорвавшись в откровенность, которая всё испортит раньше срока. Или трусость — оба боятся первыми произнести настоящее, потому что произнести значит признать, что оба на это согласились, что оба сюда за этим приехали. Разница между профессионализмом и трусостью такая же тонкая, как между трезвостью и манипуляцией, и она снова не выбирает. Складывает обе версии рядом. Рано.

Солнце опускается ниже, вода перестаёт слепить и начинает густеть. Из белой в жёлтую, из жёлтой в ту тяжёлую медь, которую здесь, наверное, показывают в рекламных проспектах отеля.

— Красиво, — говорит он.

Одно слово, без нажима. Из тех, что говорят не собеседнику, а просто в пространство, чтобы отметить: да, вот это происходит, и мы это видим. И именно потому, что оно необязательное — не ход, не проверка, не монета на прилавок, она слышит в нём что-то новое.

Он устал.

Не от неё — она успела бы заметить. От всего этого. От террасы, от двух букетов наверху, от наблюдателей, которых оба пересчитали. От чужой режиссуры, в которой им обоим отвели по роли и вручили реплики. Он сказал «красиво» тем самым голосом, каким говорят люди, которым всё это надоело до такой степени, что океан — единственное, что осталось настоящего в кадре, и на него хочется просто смотреть.

И впервые за полчаса она видит на соседнем шезлонге не объект. Не материал, который надо разложить на плюсы и минусы. Человека, которого, как и её, привезли сюда, посадили и велели быть обаятельным под чужими камерами, и который так же, как она, украдкой смотрит на воду. Потому что вода — это единственное, что здесь не подстроено.

Она не отвечает вслух. Но тоже поворачивается к меди на волнах.

— Да, — говорит она. — Красиво.

* * *

Медь на воде остывает медленно, будто кто-то забыл выключить и оставил доходить на слабом огне. Галина смотрит на неё и молчит, и это молчание удобное, как хорошо подобранный инструмент, ложится в ладонь и не просит ничего сверх.

— Часто здесь бываете? — спрашивает он.

Вопрос из тех, которыми заполняют лифт. Она могла бы ответить так же, ровной ерундой, но что-то в его интонации не даёт: он спросил не для того, чтобы услышать про Бали.

— Первый раз.

— Я тоже.

Пауза. Короткая, но с весом. Она перебирает её на ощупь и понимает: это не про остров. Оба первый раз здесь, в этой декорации, на этих сдвинутых шезлонгах, под этими чужими камерами. Первый раз, когда кто-то другой распланировал за них закат. Он это знает. Она это знает. И оба выбрали сказать «первый раз» о песке и пальмах, потому что говорить о настоящем ещё рано.

Она решает проверить. Не резко, аккуратно — как касаются пинцетом края, чтобы понять, живая ткань или уже нет.

— И как вам здесь?

Он смотрит на неё. Секунду дольше, чем нужно для ответа на такой вопрос, ровно настолько, чтобы она успела зафиксировать: он понял, что вопрос двойной, и решает, каким слоем отвечать.

— Зависит от того, зачем приехал, — говорит он.

Она кладёт это в отдельную ячейку. Он не уклонился. Мог бы про кухню, про сервис, про то, что вода тёплая как чай. Не стал. Ответил честно, в рамках игры, но честно. Не соврал и не признался. Прошёл ровно по краю, не свалившись ни в одну сторону. Это редкость. Люди либо врут гладко, либо режут правду не к месту; удержаться на грани умеют немногие.

Она позволяет себе чуть больше. Ровно на один шаг ближе к стене, у которой они оба обыскивают друг друга.

— Деда умеют выбирать декорации.

И следит за реакцией, как следят за зрачком на свет.

Он не вздрагивает. Не переспрашивает «какие деды». Не делает лицо человека, которого застали врасплох. Значит, ждал. Знал, что рано или поздно кто-то из них произнесёт это, и, может быть, даже ставил на то, что первой произнесёт она. И вместо всего этого — улыбка. Маленькая, в один угол рта, и он её не прячет. Не прикрывает ладонью, не отворачивается к воде. Оставляет на виду.

Это первый момент, когда между ними что-то по-настоящему соединяется. Не игра, не проверка, не монета на прилавок. Короткое узнавание: свой. Не в смысле союзник — до этого далеко. В смысле — из той же комнаты. Заперт в той же истории.

— Умеют, — соглашается он. — Букеты, ужин на восемь. Даже свет заказали.

— Свет им не подчиняется.

— Пока.

Она почти улыбается в ответ. Ловит себя за секунду до и оставляет губы ровными.

— И часто они так? — спрашивает она. Без имени. Без «ваш дед», без «мой». Просто — они. Оба понимают о ком.

— Достаточно, чтобы я перестал удивляться. — Он поводит плечом. — Хотя эта постановка масштабнее обычного.

— У нас тоже любят масштаб.

— Заметно.

Короткий обмен, в котором нет ни одной детали. Ни завещания, ни условий, ни срока, ни сумм. Но оба знают, о чём речь, и оба знают, что другой знает, и от этого слова становятся почти лишними. Так — разметка на асфальте, чтобы не съехать.

И вот что она отмечает, слушая его: он не зол. Раздражён — да, это в нём есть, оно проступает в том, как он сказал «даже свет заказали», с той усталой точностью, с какой перечисляют чужие излишества. Но злости нет. Он не говорит о деде тем сдавленным тоном, каким взрослые дети говорят о родителях, если под спудом лежит счёт длиной в жизнь. Раздражён режиссурой, но не на самого режиссёра. Это важно. Человек, который зол на своих, тащит эту злость всюду, и рано или поздно она выливается на того, кто ближе. Раздражённый — просто устал. Усталость проходит. Злость — нет.

Она откидывается на спинку шезлонга и смотрит на воду, но воду больше не видит. Внутри у неё, помимо воли, разложился список. Тот самый, короткий, который она составила три года назад и с тех пор ни разу не применяла, потому что применять было не к кому.

Умный. Подтверждено. Он ответил на двойной вопрос, разобрав его на слои, и ни разу не сфальшивил.

Не сентиментальный. Похоже, да. Сказал «красиво» о закате, но так, как говорят о факте, а не о чувстве. И про деда — без надрыва.

Держит слово. Неизвестно. Данных нет. Но первые данные хотя бы не противоречат, а обычно противоречат сразу.

И тут она себя ловит.

Это уже не диагностика. Она не раскладывает материал на плюсы и минусы, чтобы решить, годится ли он в схему. Она слушает его, потому что ей интересно, что он скажет дальше. Разница тонкая, но она есть, и Галина её чувствует, и от этого внутри поднимается сухое, привычное раздражение. Не на него. На себя. За то, что пинцет в её руке дрогнул. За то, что стена, у которой они обыскивают друг друга, вдруг перестала быть только стеной.

Она поправляет это про себя коротко и жёстко, как вправляют вывих: интерес — не помеха. Интерес — переменная, её можно учесть. Учесть и продолжить работать.

Медь на воде тускнеет до бронзы.

— Скоро восемь, — говорит она.

* * *

Терраса встречает её тем светом, который заказывают отдельной строкой: тёплым, приглушённым, разлитым так ровно, что не видно ни одной лампы. Столики стоят вдоль перил, и один из них сдвоен — две скатерти составлены в одну, как две судьбы, которые кто-то заранее решил не разлучать. Дед не поспешил на метафоры.

Официант возникает раньше, чем она успевает сесть. Отодвигает стул, кладёт салфетку ей на колени движением, которое отработывают не в этом отеле. Слишком внимателен. Слишком вовремя. Хирург замечает лишний инструмент на столе прежде, чем понимает, зачем он там.

Она садится и считает, не поднимая головы. Женщина у колонны с бокалом, который не убывает уже, похоже, минут двадцать. Пара за дальним столиком — сидят лицом к террасе, а не к воде, что противоестественно для людей, приехавших на закат. И камера над баром — крохотная, вделанная в лепнину, чёрная точка, которую выдаёт только чуть более матовый блик. Три точки. Одна линза. Декорация полная, свет выставлен, актёры на местах. Ждут исполнителей главных ролей.

Алексей опускается напротив, разворачивает салфетку и, глядя в меню, произносит негромко, ровно, как читает список вин:

— Официант слева — дедов. Женщина у колонны тоже.

— Я насчитала трёх, — отвечает она так же, изучая свой бокал.

— Четыре. Бармен.

Она позволяет себе полсекунды на бармена. Мужчина протирает стекло, не глядя на стекло. Точно. Четыре.

И вот что странно: внутри у неё что-то отпускает. Не тревога, тревоги и не было, а та отдельность, с которой она пришла на террасу. Секунду назад они были двумя людьми, которых свели чужой волей, и каждый обыскивал другого. Теперь у них общий противник, и это меняет геометрию мгновенно, как перекладка сил в тесной операционной, когда все вдруг работают на одно поле. Не союзники. Но и не по разные стороны стены. По одну.

— Спасибо за бармена, — говорит она. — Пропустила.

— У вас взгляд был занят колонной.

Официант — дедов официант — приносит воду, наливает, отступает ровно на два шага и остаётся стоять, как остаётся стоять тот, кому платят не за подачу блюд.

И тогда начинается то, чего она не планировала, но что делает без запинки, потому что это, оказывается, навык, а навык живёт в теле отдельно от воли. Она чуть подаётся вперёд. Смягчает линию плеч. Смотрит на него на секунду дольше, чем нужно, и не отводит глаз первой. Он делает встречное движение — придвигает бокал ближе к её, наклоняет голову, будто она сказала что-то, к чему стоит прислушаться. Двое влюблённых на закате, за столиком с одной скатертью на двоих.

Это не сложно, отмечает она про себя. Это ровно так же, как держать лицо, когда под руками расходится то, что не должно расходиться, а вокруг люди, которым нельзя показать, что

ты сам не знаешь, чем это кончится. Ты дышишь ровно. Ты говоришь спокойно. Ты играешь уверенность, пока она не станет настоящей или пока всё не закончится. Разница только в том, что там на кону чужая жизнь, а здесь — чужие деньги и две недели спектакля.

— Расскажите, — говорит он, и по интонации она сразу слышит: это уже не тот вопрос, что был на пляже. Там он проверял, прощупывал, интересуют ли её его нули. Сейчас в голосе нет крючка. — Что вы оперируете.

— Абдоминальная хирургия. Живот. — Она делает паузу, готовая остановиться здесь, на границе, за которой начинается лишнее. И не останавливается. — Сейчас всё чаще лапароскопия. Три прокола вместо разреза. Смотришь на экран, а руки внизу, в человеке.

— То есть вы смотрите не туда, где работаете.

— Привыкаешь. Мозг перестраивает координаты за пару лет. — Она замечает, что сказала «пару лет», а не «долго», что дала цифру, что дала деталь. Наблюдатели у колонны видят женщину, которая увлеклась. Но женщина увлеклась не для них.

Официант заносит первую перемену. Женщина у колонны меняет бокал на новый, всё так же полный.

— Я думал, хирург — это когда режут, — говорит Алексей, и в этом «я думал» нет ни капли снисхождения, какое обычно кладут в такие фразы люди, уверенные, что и так всё поняли. Он говорит неточно, но открыто. Как человек, который не боится оказаться неправым при свидетеле своей неправоты. — Скальпель, кровь, вот это всё из сериалов.

— Режут — это минута из четырёх часов. — Она берёт вилку, кладёт обратно. — Хирургия — это не про то, чтобы разрезать. Это про то, чтобы решить, где не резать. Половину операции ты не делаешь ничем руками. Ты думаешь и смотришь. А потом делаешь одно движение, к которому шёл всё это время.

Он молчит. И это молчание — не пауза, за которой заготовлена следующая реплика, не вежливое ожидание, чтобы вставить своё. Он правда обдумывает то, что она сказала. Она видит это по глазам, по тому, как в них на секунду гаснет терраса, свет, наблюдатели, всё внешнее, и остаётся только фраза, которую он крутит внутри.

— Как в переговорах, — говорит он наконец. — Половина — тишина. Одно движение.

— Возможно. Я не веду переговоров.

— Вы их ведёте прямо сейчас.

Она замечает, как уголок её рта дёргается против воли. Не улыбка. Реакция на точное попадание, как отдёргивают руку от неожиданно горячего.

И вот здесь она делает то, что делает всегда, когда данные перестают ложиться в модель: фиксирует аномалию отдельной строкой. Он слушал. Не изображал внимание, набирая паузу, слушал, и услышанное изменило его следующую фразу. Люди так почти не делают. Люди ждут своей очереди говорить. Он переработал её слова и вернул их иными. В её короткой выборке это первое отклонение. Ни одна из двух коробок его не вмещает.

Она откладывает это на потом. Сейчас ужин. Сейчас картинка для тех, кому платит дед.

Перемены сменяют одна другую. Они говорят о вещах, не имеющих значения так, чтобы значение читалось между. Они смеются негромко в правильные моменты. Она кладёт ладонь на скатерть ближе к его руке, не касаясь, но так, чтобы от колонны это выглядело касанием. Он отзеркаливает. Спектакль идёт гладко, оба знают свои роли, хотя никто не давал им сценария, и никто из них ещё не сказал вслух «да».

К десерту женщина у колонны наконец отставляет бокал — работа сделана, картинка снята. Официант приносит счёт, которого никто не просил, и уносит, не дав его коснуться, счёт тоже, оказывается, часть декорации.

Галина смотрит на воду за перилами. Бронза давно стала чёрным, и в чёрном дрожат огни террасы.

Мы только что отыграли первый акт, думает она. Первый акт пьесы, которую ещё не согласились ставить. Ни контракта, ни рукопожатия, ни слова, а спектакль уже идёт, и наблюдатели уносят плёнку деду, довольные. Это просто восхитительная ловушка: дверца нежно прихлопывает тебя аккуратно в тот момент, когда ты всё ещё стоишь снаружи и размышляешь, стоит ли вообще входить.

Либо...

Она не заканчивает. Оставляет строку пустой, как оставляла пустой ту, единственную, в бизнес-плане три года.

* * *

Дверь закрывается за спиной с мягким пневматическим вздохом, и это первый звук за весь день, который не адресован никому.

Галина стоит секунду в темноте прихожей, не включая свет. Потом наклоняется и снимает туфли. Одну, вторую, держась ладонью за стену. Плитка холодит ступни. Она стоит на этой прохладе и понимает, что не разгибала пальцы ног, кажется, с самого аэропорта. Тело держало осанку двенадцать часов подряд, как держит её ассистент над столом, когда операция затягивается и уже не чувствуешь спины.

Она проходит в комнату, не зажигая ламп. За стеклом океан, которого не видно, только слышно: ровный, безразличный, работающий сам на себя звук. В стекле отражается её собственный силуэт и лампа с той стороны кровати, которую она не трогала. Номер 412. Прибрано, застелено, на подушке шоколадка в фольге, которую она вечером сметёт в мусорную корзину не разворачивая.

Галина садится на край кровати. Кладёт руки на колени. И начинает разбор. Так, как разбирает вечером сложный случай: не эмоционально, по этапам, сверяя план с исполнением.

Что она ожидала.

Она ожидала одного из двух. Либо человека, который будет себя продавать — раскладывать перед ней активы, ронять между делом названия компаний, сумм, ждать, когда у неё расширятся зрачки. Таких она видела на приёмах деда достаточно, чтобы узнавать за версту: они говорят с тобой, а смотрят на реакцию, как хирург смотрит на монитор, а не на пациента. Либо, второй вариант, человека, который будет проверять её. Прощупывать, не охотница ли она. Задавать вопросы с двойным дном, ронять пробные камни, считать, за что она цепляется.

Она была готова к обоим. У неё были ответы на оба.

Что она получила.

Она достаёт этот факт и кладёт его на стол, как достают из лотка удалённое — вот оно, смотрите, вот с чем мы имели дело. Она получила человека, который пересчитал наблюдателей деда раньше, чем это сделала она. Она заметила женщину у колонны только к горячему. Он, это она теперь понимает, прокручивая вечер назад, знал про неё с самого начала. По тому, как он один раз, только один, повернул голову в её сторону и тут же вернулся к разговору. Не проверяя. Отмечая.

И за весь ужин ни одной лишней фразы. Она перебирает реплики, как перебирают шовный материал перед закрытием, — где узел лишний, где стежок для красоты. Лишних не было. Он говорил ровно столько, сколько нужно для картинki, и ни на слово больше. Человек, которому нечего доказывать, так не молчит. Человек, которому есть что скрывать, молчит иначе — напряжённо. Его молчание было третьего рода. Экономным. Как у человека, привыкшего, что за каждое слово с него потом спрашивают.

Расхождение между ожидаемым и полученным больше допустимой погрешности.

Галина сидит в темноте и честно проговаривает себе, потому что честность с собой — это единственная роскошь, которую она себе оставила.

Это не значит, что он подходит.

Это значит только, что данных недостаточно. Две коробки, с которыми она приехала, пусты. Ни в одну он не лёг. Но пустая коробка — это не диагноз. Это отсутствие диагноза. Она умеет работать с неполными данными, она работает с ними каждый день: рентген нечёткий, анамнез собран наспех, пациент врёт про алкоголь. Тыходишь всё равно и решаешь по ходу. Недостаток информации никогда не был для неё проблемой.

Проблема в другом.

Она ловит себя прямо сейчас на желании получить больше данных. Не чтобы закрыть диагноз. А потому что хочется смотреть дальше. И вот это уже не диагностика. Диагност не хочет, чтобы случай оказался интереснее. Диагност хочет, чтобы случай оказался понятным.

Она встаёт, подходит к окну вплотную. Дыхание оседает на стекле мутным пятном, тут же тающим. За пятном чернота, в которой ворочается вода.

И последний кадр дня приходит сам, непрошено.

Она поправила его. Он сказал про хирургию небрежно, как говорят люди, у которых хирургия — картинка из сериала, и она поправила. Спокойно, без нажима, просто вернула точность на место. И приготовилась к одному из двух: либо он смутится и переведёт тему, либо начнёт объяснять, что имел в виду совсем другое, что она его не так поняла. Мужчины делают либо то, либо это. Всегда.

Он не сделал ни того, ни другого.

Он кивнул. Коротко. И — она видела это по глазам — запомнил. Не для того, чтобы при случае вернуть ей, не для реванша. Просто внёс поправку и пошёл дальше с уже исправленными данными.

Галина стоит у стекла и не может вспомнить, когда в последний раз кто-то так реагировал на её поправку. Ассистенты каменеют. Коллеги защищаются. Мать замолкает обиженно. Дед делает вид, что не расслышал. Никто не берёт поправку просто так, без счёта.

И это её раздражает.

Раздражает не то, что он взял. Раздражает, что она это заметила. И что заметила важное. А важное она сегодня замечать не собиралась. Она приехала считать, а не чувствовать, и весь протокол был выстроен на том, чтобы держать эти две вещи по разные стороны стола.

Она отходит от окна. Смахивает шоколадку в корзину, не разворачивая.

Данных недостаточно, повторяет она себе, ложась поверх покрывала не раздеваясь. Данных недостаточно, и это в кои-то веки её устраивает.

Глава 5.

Океан заходил на посадку в собственный горизонт — солнце садилось так, будто ему за это платили. Алексей стоял у панорамного окна, засунув руки в карманы, и смотрел, как небо переливается из персикового в тот оттенок, для которого дизайнеры интерьеров придумывают отдельные названия. Терракота. Медный закат.

Он не просил этого вида. Он вообще ничего здесь не просил — ни виллу с бассейном на двадцать метров, где он всё равно проплывал десять, ни террасу с видом на воду, ни ужин на восемь вечера, организованный кем-то, кто никогда не спросил, во сколько Алексей ужинает. Дед умел выбирать декорации. Это надо было признать честно, как признают силу противника перед раундом. Константин Александрович не экономил на постановке. Если уж строить внуку клетку, то с видом на закат, который стоит дороже самой клетки.

Красиво. Раздражающе красиво. Так красиво, что хотелось спросить, за чей это счёт — риторически, конечно, потому что счёт был известен.

Алексей отвернулся от окна и подошёл к шкафу.

Одеваться он начал методично, как перед раундом финансирования, где каждая пуговица — сигнал. Смокинг — слишком. Это читалось бы как «я отнёсся серьёзно», а серьёзно к ужину

с незнакомой женщиной, которую тебе сосватал дед, относиться нельзя — это капитуляция. Пляжное — тоже нет. Шорты и лён кричали бы «мне всё равно», а «мне всё равно» — это тоже поза, только другая, и она бы её считала за секунду. Он уже понял, что она считывает быстро.

Нейтральная территория. Рубашка — светло-серая, без галстука. Брюки, не джинсы. Так одеваются на переговоры, где ещё не решено, кто кому продаёт.

Решение он принял ещё в самолёте, где-то над Индийским океаном, между вторым эспрессо и той точкой, когда перестаёшь понимать, какой сейчас день. Тело, впрочем, об этом узнавало последним. Пальцы застёгивали пуговицы чуть медленнее, чем надо. Он заметил это и усмехнулся сам себе: голова договорилась, а руки ещё торгуются.

Он застегнул манжету и повторил про себя схему. Пять пунктов — он любил, когда всё раскладывалось в пять пунктов или меньше.

Год. Достаточно, чтобы деды поверили, но недостаточно, чтобы кто-то из них сошёл с ума.

Свадьба. Формальность, бумага, спектакль для двух стариков, которые считают загс филиалом семейного бизнеса.

Ребёнок — или нет ребёнка. Вот здесь пауза. Здесь пункт, который он не мог решить в одиночку, потому что решать за женщину, будет ли она рожать, это не пункт схемы, это диагноз. Это надо обсуждать. Формулировка была неприятной, и он отложил её, как откладывают самый твёрдый орех на конец.

Наследство. Цель. То, ради чего вся конструкция.

Развод. Финал. Чистый выход, оговорённый заранее, как условия закрытия сделки. Разошлись, поблагодарили, каждый унёс своё.

Проще любого инвестиционного раунда. В раунде минимум восемь юристов, три версии терм-шита и один инвестор, который в последний момент захочет ещё десять процентов. Здесь двое взрослых людей, общий интерес и никаких иллюзий. Идеальная сделка. Настолько идеальная, что становилось смешно.

Он поймал своё отражение в тёмном стекле. За отражением догорал океан.

И вспомнил её у перил. Вчерашнюю — или сегодняшнюю, время здесь плавилось. Как она смотрела: без того женского прищипа, который он научился распознавать за версту, без быстрой инвентаризации часов, ботинок, машины у входа. Она смотрела на него так, как смотрят на снимок перед операцией. Где здесь патология, где норма, что резать. И не улыбнулась на приветствие. Просто отметила факт его существования и вернулась к своим мыслям.

Не охотница. Это он понял сразу, и это ломало всю его привычную схему, где мир делился на охотниц и — на пустую строку под словом «или». Строка была пустая три года. Он специально не вписывал туда «нормальный человек», потому что боялся сглазить.

А может, тоже жертва. Загнанная в тот же угол, тем же способом, теми же любящими руками. Двое, которых притащили на убой и посадили ужинать, чтобы всё выглядело прилично.

Третья коробка начинала обретать контуры. Пока смутные — так проявляется изображение в кювете с реактивом, ещё нельзя разобрать лицо, но уже видно, что там кто-то есть.

Алексей взглянул на часы. Без двадцати восемь. Рано.

Он постоял ещё секунду посреди номера, слушая, как кондиционер выдыхает прохладу в спину. Ждать здесь, в четырёх стенах, среди чужой роскоши и слишком мягких подушек, было хуже, чем ждать где угодно. В номере мысли начинали ходить по кругу и наступать друг другу на ноги.

Он взял со стола ключ-карту, сунул в карман. Проверил, ничего лишнего в лице. Ни готовности, ни напряжения, ровное выражение человека, который спустился к ужину поужинать.

У двери задержался на полсекунды. Не потому, что торопился. А потому что где-то на террасе уже, наверное, зажгли те самые лампы, и там был воздух, и вода, и — в отличие от номера, конец у этого ожидания.

Он вышел раньше времени.

* * *

Терраса начиналась там, где кончался мрамор холла, — открытая, отвоёванная у сумерек полоса между рестораном и водой. Лампы уже горели: круглые бумажные фонари над каждым столом, дальше — гирлянда вдоль перил, ещё дальше — ничего, чёрная вода и такое же чёрное небо, разделённые полосой догоревшего оранжевого, которая с каждой минутой становилась тоньше.

Стол он нашёл сразу. Не потому, что искал долго, а потому что его было невозможно не найти. Два столика, сдвинутых вместе и застеленных общей скатертью так, чтобы шов не был виден. Два букета орхидей — не один по центру, как поставил бы любой ресторан, а именно два, по краям, симметрично. Дед или люди деда, что то же самое, не поспешил на символизм. Всё говорило: здесь сидят двое, которым предстоит стать одним. Алексей мысленно поаплодировал режиссуре.

Галина уже сидела. Спиной к воде, лицом к террасе. Сектор обзора выбран правильно, отметил он. Меню она держала обеими руками и изучала его с сосредоточенностью человека, который перед первым разрезом ещё раз проходит протокол: где сосуд, где нерв, какая последовательность. Не выбирала ужин. Проверяла вводные.

— Добрый вечер, — сказал он и сел напротив.

— Добрый.

Официант возник из ниоткуда — так материализуются только в очень дорогих местах, где персонал учат стоять на грани видимости. В руках карта вин в кожаном переплёте толщиной с небольшой роман.

— Что-нибудь из вин? У нас есть достойное Совиньон Блан, охлаждённое, — он адресовал это скорее Алексею, но взгляд держал на обоих, распределяя вежливость поровну.

— Воду, — сказала Галина. — Без газа. И лайм отдельно.

Официант перевёл глаза на него.

— То же самое, — сказал Алексей. — И меню я, пожалуй, ещё подержу.

Официант растворился. Алексей отметил про себя: вода. Не «я не пью», она не объяснила, не извинилась, не сослалась на самолёт или на жару. Просто выбрала воду с той же интонацией, с какой выбирают инструмент. Значит, не воздержание принципа. Значит — не хочет размывать резкость. Человек, который держит скальпель, не станет притуплять руку одним бокалом перед серьёзным разговором. Скорее второе. Почти наверняка второе.

Он это уважал.

Светская часть, которая полагалась здесь по протоколу, не пошла. Он попробовал. Что-то про перелёт, про разницу во времени, которая на третий день ещё держит за горло. Она ответила ровно столько, сколько требовала вежливость, и ни словом больше. Он спросил, как ей отель. «Тихо», сказала она, и это прозвучало не как оценка, а как диагноз, скорее одобрительный. Потом разговор кончился сам собой, как кончается ручеёк в песке.

И что было самым любопытным, ни один из них не бросился спасать паузу. Не начал заполнять её тем звоном, которым обычно затыкают тишину незнакомые люди за общим столом. Пауза росла. Она была длиннее, чем принято. Она была уже почти неприлично длинной. За соседними столиками кто-то смеялся, звенел лёд, где-то ниже, под террасой, вода лениво трогала сваи. А они молчали, и оба знали, что молчат, и оба знали, что другой это знает.

Ему это, пожалуй, нравилось. В этом молчании не было неловкости — была честность. Двое взрослых людей не делали вид, что им есть о чём щебетать.

Паузу нарушила она. Первой. Отложила меню — аккуратно, углом к краю стола, и посмотрела на него прямо.

— Сколько у вас времени до конца отпуска?

Вопрос был подан как светский. Как «а вы надолго сюда?». Но интонация выдавала: это не любопытство. Это уточнение сроков. Она хотела знать, в какой временной рамке всё это происходит. Планировщик спрашивал у планировщика про дедлайн.

Он мог ответить. Двенадцать дней, если считать с сегодняшнего. Но отвечать прямо на прямой вопрос, значит отдать инициативу. А ему нужно было понять другое, важнее сроков.

— А вы уже решили, — сказал он, — зачем приехали?

Она смотрела на него секунду. Ровно секунду — он почти отсчитал её, как отсчитывала секунды она сама, там, у бассейна, когда убирала руку. В этом взгляде не было обиды. Он ждал вспышки, того женского оскорбления, которое умеет разгораться из ничего, из неправильно поставленного вопроса. Вспышки не было. Была работа. Она взвешивала: можно с ним так или нельзя. Не оскорбилась — оценила.

— Посмотреть на материал, — сказала она.

Ровно. Без вызова. Как констатируют цвет ткани в операционном поле.

Что-то в нём — то напряжённое, что три года держало наготове схему с двумя коробками, на этих двух словах слегка разжалось. Не расслабилось. Разжалось, как разжимается кулак, когда понимаешь, что драки не будет, потому что напротив не противник, а такой же уставший переговорщик. С ней можно было говорить прямо. Она только что это разрешила, не позволением, а собственным примером.

И оба это осознали одновременно. Он видел, как она это осознала: короткое, почти незаметное изменение в плечах, как будто человек снял пиджак, который жал. Первый слой вежливости — тот тонкий воск, которым покрывают незнакомство, они только что содрали с обеих сторон. Под ним оказалось что-то более прочное и куда менее скользкое.

Официант вернулся с водой. Поставил два стакана, положил блюдце с дольками лайма, замер в готовности принять заказ.

Алексей взял меню, но открывать не стал. Посмотрел на неё поверх обреза бумаги.

— Давайте так, — сказал он. — К делу, после горячего. Пусть хотя бы еда здесь будет нормальной. Она, говорят, того стоит.

Уголок её рта дрогнул. Не улыбка. Но и не отказ.

— Разумно, — сказала она и раскрыла меню обратно.

* * *

Горячее принесли, когда солнце уже касалось краем воды — тот момент, когда небо над океаном ещё держит дневную синеву, а линия горизонта плавится в оранжевом. Официант расставил тарелки — ей рыбу, ему что-то с рисом и специями, названия которых он не запомнил, пожелал приятного вечера на своём тщательном английском и ушёл. Не сразу. Задержался ровно настолько, чтобы отодвинуться в тень колонны и стать частью декорации. Мужчина с газетой сегодня не дежурил. Значит, официант.

Алексей отметил это и отложил в сторону. Не тот вопрос, который решается сейчас.

Он не стал ждать, пока она возьмёт вилку. Взял свою, но есть не начал — держал её как человек, который решил, что говорить теперь можно, и хочет освободить руки от лишнего.

— Схема простая, — сказал он. — Год. Мы живём вместе, появляемся вместе там, где нас должны видеть. Через какое-то время — свадьба, для их спокойствия. Год держим, оба получаем то, ради чего сюда прилетели, и расходимся. Цивилизованно, без сцен, без адвокатов, которые делят посуду.

Он сделал паузу. Не для эффекта — чтобы дать ей место.

— Ребёнок — отдельная строка. Условие звучит именно так, я знаю. Но это не решается за ужином. Отложим. Разберёмся, когда будет понятно, что мы вообще способны провести год в одной квартире и не убить друг друга.

Он ждал. Не удивления — он давно перестал ждать удивления от неё, но хотя бы паузы. Того короткого зависания, которое выдаёт человека, услышавшего неожиданное.

Паузы не было.

Она резала рыбу — аккуратно, отделяя мякоть от кожи одним движением, и слушала так, как слушают доклад, который в общих чертах уже знаешь. Ни одна мышца в лице не сдвинулась на «вот это поворот». Не переспросила. Не вскинула бровь.

Она это уже проходила в голове — понял он. *Не мою формулировку — свою. Приехала с готовым эскизом. Либо дед сказал ей больше, чем моему деду казалось нужным сказать мне. Либо она просто просчитала всё сама, ещё в Москве, глядя в потолок*.

Второе нравилось ему больше. И это тоже он отметил — что ему уже не всё равно, какое из двух объяснений верно.

Она положила нож. Промокнула губы салфеткой — движение без нужды, скорее пунктуация, чем гигиена.

— Кто где живёт, — сказала она.

Не «где мы будем жить». Не «а как ты себе это представляешь». Первый вопрос — про периметр.

— Мои апартаменты в Сити, — ответил он. — Больше по метражу. Две спальни, кабинет, вид, который положено фотографировать, когда приходят гости. Ваша квартира где?

— Хамовники.

— Хорошая квартира?

— Хорошая.

— Тогда логичнее у меня. Не потому, что моё лучше. Потому что там есть куда развести две жизни, чтобы они не тёрлись друг о друга каждое утро в одной ванной. — Он чуть повёл плечом. — Ваша пусть стоит. Год простоя её не испортит.

Она кивнула. Один раз, коротко. И он снова увидел то, что заметил ещё у бассейна: она соглашалась не потому, что ей безразлично, где спать, и не потому, что уступала ему территорию. Она соглашалась, потому что это действительно было логичнее, и она это проверила за те две секунды, пока держала нож. Прагматизм без покорности. Согласие как результат расчёта, а не как жест.

Она снова взяла нож. И, не поднимая глаз от тарелки, спросила:

— Официант.

— Что — официант?

— Тот, что ушёл к колонне и не ушёл. — Она отделила ещё кусок. — И утром был мужчина у бассейна. С газетой. Читал одну страницу минут сорок. Хорошая выдержка для человека, который не работает.

Он смотрел на неё и чувствовал, как то самое напряжённое в груди — держатель схемы, сторож, три года не спавший, — делает ещё один оборот в обратную сторону.

Она заметила наблюдателей. Не спросила у него, есть ли они. Констатировала. Причём обоих — и того, кого заметил он, и, кажется, ещё женщину с планшетом, которую он не стал упоминать.

— Есть, — сказал он. — Двое как минимум. Дед мой любит закрытые контуры. Полагаю, ваш не хуже.

— Хуже, — сказала она без выражения. — Мой дед всё делает основательно.

И тут её рука с ножом на секунду замерла над тарелкой.

— Тогда две недели — часть договора.

Не вопрос. Он ждал вопросительной интонации в конце — привычки перекладывать решение на собеседника, и её не было. Утверждение. Она просто зафиксировала границу, которую он ещё не успел проговорить вслух: раз наблюдатели здесь, значит, спектакль начнется не в Москве по прилёте, а сейчас. За этим столом. Между рыбой и его рисом.

— Да, — сказал он. — С сегодняшнего вечера.

Смотри — сказал он себе, глядя, как она возвращается к еде, будто только что уточнила площадь помещения перед арендой. *Она не выторговывает. Ни разу за весь разговор — ни секунды на «а что мне с этого», ни намёка на «а если я хочу больше». Другая на её месте уже прощупывала бы, чья квартира, чья машина, кто платит за перелёты, чьё имя первым в списке приглашённых. Она не про это. Она обводит контур. Где начинается, где заканчивается, кто внутри. Периметр, а не содержимое*.

Он опустил взгляд в тарелку и наконец начал есть. Еда действительно была хорошей — он отметил это отстранёно, как отмечают температуру за окном.

Разница между «выторговать условия получше» и «уточнить границы» была небольшой на слух. И огромной по сути. Первое — про выгоду. Второе — про контроль над собственным пространством. И он поймал себя на том, что где-то в голове, на той пустой строке под словом «или», которую он три года держал незаполненной, впервые появилось что-то, не похожее ни на охотницу, ни на жертву.

Он ещё не знал, чем это заполнить. Но строка перестала быть пустой.

* * *

Она отложила приборы, вытерла пальцы о салфетку и достала телефон. Не так, как достают телефон, чтобы спрятаться от неловкой паузы, а так, как открывают справочник. Экран отразил на секунду её лицо снизу, подсветил скулы. Она пролистнула что-то, нашла, прочитала.

— Мне ждать примерно сто восемьдесят, — сказала она. — Плюс-минус, зависит от курса на момент вступления. Дед не хранит в рублях.

Она положила телефон экраном вниз. Не спрятала — просто убрала из поля.

— У меня больше, — сказал Алексей и назвал цифру.

Он ожидал чего угодно — быстрого взгляда, паузы, того едва уловимого движения зрачка, по которому за три года научился читать людей лучше, чем по их словам. Ничего. Она кивнула, будто он сообщил ей время вылета обратного рейса.

— Логично, — сказала она. — Ваш дед крупнее. — И, помолчав секунду: — Мне достаточно. Первый взнос за помещение под Кутузовским, задаток за оборудование. Дальше — операционный поток.

Достаточно. Он повторил про себя это слово, как повторяют незнакомый термин, чтобы запомнить. Не «мало» с обидой и не «прекрасно» с блеском в глазах. У неё это была не сумма, а строка в смете. Пустая строка, которую наконец есть чем заполнить. У неё был план. Не абстрактное «хочу денег», от которого у него сводило челюсть последние три года, а расчёт, куда именно эти деньги встанут и что после них произойдёт.

— Тогда мои условия, — сказала она.

Он приготовился слушать.

— Раздельные спальни. Везде, где мы живём. Публика видит одну дверь — внутри две. — Она загибала пальцы, коротко, без нажима. — В мой рабочий график вы не вмешиваетесь. Совсем. Дежурства, конференции, ранние операции — это не обсуждается и не переносится ради ужинов. Появления на людях — по календарю, согласованному заранее. Не «сегодня в семь у деда приём, будь красивой». За неделю. Минимум.

Она замолчала.

Он ждал следующего пункта. Того самого. Про содержание на время игры, про карту с лимитом, про то, кто оплачивает гардероб для этих самых появлений, про долю сверх наследства за неудобства. У всех был этот пункт. Он приходил либо первым, замаскированный под

заботу, либо последним, поданный небрежно, как постскрипtum. Он умел ждать его и умел торговаться.

Пункта не было.

Она смотрела на него ровно, будто уже сказала всё, что относится к делу, и теперь его очередь.

— Это всё? — спросил он.

— По моей части — да.

Троллейбусов на Бали не было, но где-то за оградой террасы прошёл скутер, взвыл на подъёме и стих. Пальмы стояли чёрные на остатках заката, и в бассейне подсветка меняла воду с бирюзовой на фиолетовую и обратно, медленно, как дыхание. Он поймал себя на том, что слишком долго молчит.

— Хорошо, — сказал он. — Мои. Никаких сцен на людях. Ни ревности, ни слёз, ни выяснений при свидетелях — что бы, между нами, ни было. Никаких претензий на бизнес при разводе — компания моя, до, во время и после. И полная конфиденциальность. Не только от прессы. От всех. От общих знакомых, от коллег, от друзей, которым «можно всё рассказать по секрету». Схемы не существует. Есть только пара.

— Согласна, — сказала она.

Без паузы. Не переспросив ни слова. Он ожидал хотя бы формального «дайте подумать над формулировкой про бизнес», так делали даже те, кому бизнес был неинтересен, просто чтобы обозначить, что читают внимательно. Она не обозначала. Она согласилась так быстро, что стало ясно: она думала об этом раньше. Не сейчас, за столом, а где-то в самолёте, или ещё в Москве, или в тот вечер, когда дед впервые произнёс слово «завещание». Она пришла сюда с готовым списком, а не сочиняла его на ходу.

И тогда она сказала то, к чему он ещё не подошёл и, честно говоря, подходить не собирался.

— Остаётся ребёнок.

Он поставил стакан.

— Я не готова к беременности в ближайший год, — сказала она тем же тоном, каким называла сумму. — Это не про «не хочу». Это медицина. Мой график, нагрузка, стоя по восемь часов, при желании я могу перечислить факторы, но вам это не нужно. Год — нет.

— Дед ставил это отдельным пунктом, — сказал он осторожно. — Оба деда.

— Знаю. Поэтому предлагаю отложить. — Она чуть развела ладони над столом. — Мы выполняем всё остальное. Свадьба, совместная жизнь, год под их наблюдателями. И посмотрим, что они скажут, когда всё выполнено, а этого пункта — нет. Не начинать с того, что заведомо невозможно.

— Пусть висит, — сказал он.

— Пусть висит, — согласилась она.

Он снова взял стакан, чтобы занять руку. Вода в бассейне ушла в синеву.

Она только что провела переговоры чище, чем половина людей, с которыми я закрывал раунды — подумал он. *Обвела периметр, зафиксировала границы, сняла со стола единственную мину, которую я боялся трогать, — сама, до меня, чтобы не я это делал, а она. Ни одной эмоции сверх необходимого. Ни одного лишнего слова*.

И, он проверил себя ещё раз, педантично, как проверяют счёт, ни разу за весь разговор она не спросила, сколько стоят его апартаменты. Ни про машины. Она назвала свою цифру и приняла его, большую, как факт погоды. Строка под словом «или», которую он держал пустой, всё ещё не имела названия. Но теперь он точно знал: в неё не влезет ни охотница, ни жертва.

— Ну что ж, — сказал он.

* * *

— Ну что ж, — сказал он и понял, что произнёс это дважды за минуту, что для человека, привыкшего говорить точно, было мелким сбоем в системе. — Тогда резюмирую. Год. Свадьба — по их сценарию, со всеми выходами на публику. Совместное проживание, чтобы наблюдатели видели быт, а не открытку. Спектакль на все семейные и деловые события, какие они назначат. По итогам года — наследство обоим. Дальше — тихий развод без взаимных претензий. Ребёнок висит.

— Ребёнок висит, — подтвердила она.

Он смотрел, как она это принимает. Никакого движения лица, только едва заметный наклон головы — так соглашаются с диагнозом, который сами и поставили.

— Понимаете, что ни один юрист это не заверит, — сказал он. — Ни в Москве, ни здесь, нигде. Договор о притворной любви — это не документ. Это анекдот.

— Значит, держится на репутации.

Она сказала это без нажима, тем же ровным голосом, каким называла свою цифру и слово «медицина». И вот тут повисло — не напряжённо, а как-то честно. Он мысленно перебрал варианты возражения и не нашёл ни одного. Репутация. Единственное обеспечение сделки, которую нельзя ни подписать, ни оспорить. Его слово против её слова, и оба знают цену слову в среде, где деды строили империи на рукопожатии и потом сорок лет не пересматривали условий.

Она права до неприличия — подумал он. *Мы только что заключили самый крупный договор в моей жизни без единой строки текста. И единственная гарантия — что мы оба слишком дорожим тем, как о нас думают, чтобы соскочить*.

— Держится на репутации, — согласился он.

Он протянул руку через стол. Рефлекс — годы раундов, инвесторов, партнёров, которые уходили с полными карманами или без ничего, но рука всегда была одна и та же, сухая и короткая, ставящая точку. Он даже не подумал, что делает, а рука уже была в воздухе.

Она посмотрела на неё. Секунду дольше, чем требовалось. Он успел заметить, что смотрит она не как человек, которому неловко, а как человек, который оценивает угол и глубину, прежде чем сделать разрез. Потом протянула свою. Пожатие вышло сухим, точным, без задержки на «приятно познакомиться». Хирургическая кисть — он почувствовал это раньше, чем додумал: не слабая, не демонстративно сильная, ровно та, что держит инструмент восемь часов и не дрожит на девятом. Отпустила первой.

За перилами террасы закат дожигал последнее. Небо над океаном шло от к тёмно-вишнёвому, полоса у горизонта ещё держала оранжевый, но он оседал на глазах, как металл, вынутый из горна. Внизу зажглись первые лампы вдоль дорожки, официант где-то за спиной звякнул подносом, наблюдатель с газетой — он не оборачивался, но знал, что тот на месте, наверняка отметил рукопожатие себе в блокнот.

Восемь вечера. Дед организовал этот ужин на восемь. Он выбрал время так, чтобы мы подписывали контракт ровно на закате, с точностью до минуты, будто расставлял свет для фотосессии. Алексей мысленно снял шляпу. Старик бы гордился этой сценой — двое загнанных в угол людей жмут руки под догорающим небом, и небо тоже входит в смету. Он подумал сказать это вслух — «твой дед бы аплодировал» — но не сказал. Слишком рано для шуток, которые предполагают, что они на одной стороне. Хотя они, кажется, уже были.

Галина убрала телефон в сумку — тот самый, куда весь разговор ничего не записывала, просто держала на столе как блокнот, в который так и не заглянула. Взяла бокал с водой. Не с вином — воду. Отпила.

— Значит, с завтрашнего утра мы влюблённая пара, — сказала она без интонации, как объявляют расписание.

— С сегодняшнего вечера, — поправил он. — Наблюдатели работают круглосуточно. Мужчина у колонны с газетой. Официантка с планшетом. Возможно, ещё кто-то, кого я не вычислил. Ужин уже часть спектакля.

Она посмотрела на него. Не на газету, не на официантку — на него, прямо, оценивающе, и он выдержал этот взгляд, потому что уходить от него было бы поражением, а он не проигрывал взгляды.

И вот здесь возникла пауза — первая за весь вечер, в которой не было ни торга, ни защиты. Просто двое сидели над водой в бокалах и молча признавали общее положение вещей. Не союзники, не противники. Двое, кого посадили в одну лодку и убрали вёсла, и лодка уже отошла от берега, и грести всё равно придётся вместе, иначе никак. В этой паузе было даже что-то похожее на облегчение — маленькое, стыдное облегчение человека, который наконец понял правила и теперь может перестать угадывать.

— Хорошо, — сказала она наконец. — С сегодняшнего вечера.

Он кивнул. Внутри у него отщёлкнулось то, что всегда отщёлкивалось после закрытой сделки: пункт выполнен, риск оценён, следующий на очереди. Договор заключён. Условия зафиксированы, границы обведены, единственная мина снята со стола ею, до него. Всё шло по плану, и план был хорош, чист, разумен, устроен так, чтобы никого не задеть по-настоящему.

Тогда почему — подумал он, глядя, как последняя оранжевая полоса гаснет за перилами и океан становится сплошным, как чернила, *почему это не успокаивает так, как должно было*.

Он взял свой стакан. Вода была тёплой. Он всё равно допил.

* * *

Официант возник у стола раньше, чем они успели подняться, с той бесшумной точностью, которую в дорогих отелях отрабатывают до автоматизма. На подносе стояли две тарелки: манговый тарт с золотой стружкой сверху и что-то шоколадное, с ягодной кляксой по краю, выложенной кистью, а не ложкой.

— Комплимент от заведения, — сказал он с поклоном. — Шеф надеется, что вечер удался.

Алексей посмотрел на десерт. Потом на Галину. Она уже смотрела на него — тем ровным взглядом, в котором читалось ровно то же, что вертелось у него: *никто из нас этого не заказывал*.

— Поблагодарите шефа, — сказал Алексей.

Официант удалился. Алексей взял вилку, повертел, положил обратно.

Даже десерт. Он и десерт не оставил на самотёк. Где-то в московском кабинете сидит человек, для которого этот тарт — строка в графике: 20:47, комплимент от заведения, романтический акцент. Он представил старика, диктующего это по телефону, и почти улыбнулся — по-настоящему, а не для зала.

— Твой дед, — сказал он тихо, — или мой?

— У моего нет фантазии на манго, — ответила она. — Твой.

Он наклонился чуть ближе. Ровно настолько, чтобы со стороны это читалось как интимный шёпот влюблённого, а не как деловая реплика. Локоть на стол, плечо к ней, голова наклонена — он проделал это без усилия, механика была отработана давно, только адресаты раньше были другими.

— Улыбнись, — сказал он почти в самое её ухо. — Нас, скорее всего, фотографируют.

Она улыбнулась. Не широко — уголками, с лёгким наклоном головы, ровно столько, сколько нужно, чтобы объектив зафиксировал женщину, которой приятно. Технически безупречно.

Холодная — отметил он. — *Улыбка не фальшивая. Фальшивая была бы тёплой — переигранной, с лишними зубами. А эта — точная. Она не изображает чувство, она выдаёт

ровно ту дозу, которая требуется. Как в операционной, наверное. Ни граммом больше*. Почему-то это ему понравилось больше, чем понравилось бы искреннее сияние.

— Достаточно? — спросила она, не разжимая улыбки.

— Более чем.

Он отстранился — тоже неспешно, будто договорил что-то нежное. Взял ложку, отломил край шоколадного, съел. Приторно. Он отодвинул тарелку.

— Давай посчитаем зал, — сказал он вполголоса, глядя на неё поверх бокала с водой. — Из спортивного интереса.

— Мужчина у колонны ушёл, — сказала она. Не оборачиваясь. Значит, отследила заранее. — Официантка с планшетом сдала смену другой. Планшет остался.

— Планшет — рабочий инструмент, не улика.

— Здесь всё пишут на планшет, — согласилась она. И после паузы, ровно, будто ставя диагноз: — Бармен.

— Который?

— У дальней стойки. Смотрит в нашу сторону чаще, чем нужно, чтобы протереть стакан. Стакан он протирает третий раз одним и тем же движением. Механическое действие, взгляд свободен.

Алексей скользнул глазами к стойке — коротко, будто искал, не подойти ли за виски. Бармен действительно тёр бокал. И действительно смотрел — не на них прямо, а мимо, в ту точку, где сходятся все, кто наблюдают, делая вид, что не наблюдают.

— Ты права, — сказал он. И почувствовал странное не то удовлетворение, не то азарт. Они только что вместе поймали чужого. Первый раз за вечер не он против неё, не она против него, а двое против третьего. Маленькое общее дело. — Хирургический глаз.

— Просто глаз, — сказала она. — Не лсти профессии.

Он положил свою ладонь поверх её руки на столе. Опять — для зала. Тёплый жест, семейный, из тех, что делают, не думая, потому что рука сама тянется к руке. Он проделал его думая, каждый миллиметр.

Она руку не убрала. Но пальцы под его ладонью остались прямыми — не сжались, не расслабились, не ответили. Просто лежали, как лежит инструмент, который ждёт, когда его возьмут и используют. Кожа была прохладной и очень гладкой.

Она терпит это — понял он. — *Как терпят измерение давления. Дай руку — дала. Держи — держит. Ни отвращения, ни податливости, ничего. Медицинская процедура*.

И это, вопреки всякой логике, слегка его задело. Не оскорбило — задело, как задевает мелкая несправедливость: он-то каждый жест просчитывал, а всё равно чувствовал под ладонью живое тепло чужой кожи, а она, кажется, не чувствовала ничего. Или чувствовала, но отключала на входе. Он не мог решить, что хуже.

Он убрал руку первым — раньше, чем собирался.

— Ужин окончен, — сказал он громче, для того же зала, тем голосом, каким говорят «пойдём, милая». — Поздно уже.

Они встали. И тут его тело сделало то, чего он не заказывал: рука сама легла на спинку её стула и придержала, отодвигая — движение из другой жизни, из вечеров, которых у него, кажется, и не было, но откуда-то ведь взялось это в мышцах.

Галина на секунду замерла. Не растерялась — просто остановилась, будто на долю мгновения не сошёлся расчёт: этот жест не был им обговорён, значит, не был для наблюдателей, значит — зачем?

Он и сам не знал зачем.

— Спасибо, — сказала она. Коротко. И пошла к выходу.

Он двинулся рядом. Не под руку, это было бы слишком, но и не отстал: полшага, ровно то расстояние, на котором держатся люди, привыкшие ходить вместе. Он поймал себя на том, что выдерживает это расстояние с точностью, которой не требовал от него никакой контракт.

Мы уже репетируем — подумал он, проходя мимо бармена, который тёр всё тот же бокал. — *И, кажется, у нас получается*.

Океан за перилами был чёрный и ровный, как остывший чай.

* * *

В номере пахло кондиционером и чем-то цветочным — из тех освежителей, что распыляют горничные, воображая, будто гостям недостаточно тропиков за окном. Алексей стянул рубашку через голову, не расстёгивая до конца, привычка, оставшаяся с общаги, и бросил на кресло. Рубашка сползла на пол. Он не стал поднимать.

— Спокойной ночи, — сказала Галина у двери во вторую спальню. Не вопрос, не пожелание — констатация конца рабочего дня.

— Спокойной, — ответил он.

Дверь закрылась мягко, без щелчка. Даже дверьми она пользовалась аккуратно.

Он опустился на край кровати. За стеклом стояла чёрная стена ночи, и в ней, невидимый, дышал океан — ровно, длинно, с той нахальной размеренностью, которая ни у кого не спрашивает, красиво это или нет. Просто есть. *Дед умеет выбирать декорации* — подумал он. Мысль вернулась не первый раз за эти дни, но теперь без прежней колкости. Раньше в ней было раздражение: смотри, как всё срежиссировано, как обложили со всех сторон. Сейчас — почти признательность. Старик действительно знал, где ставить сцену.

Он лёг поверх покрывала, заложил руки за голову и начал прокручивать вечер — так, как разбирают отыгранную партию.

Схема сработала. Он предложил — она взвесила, поторговалась по срокам и вышла к нужной цифре. Ужин прошёл чисто. Наблюдателя они поймали вдвоём, и это оказалось почти приятно. Партнёр адекватный: не истерит, не набивает цену сверх меры, держит слово в мелочах. Всё по плану.

И вот тут была первая заусеница. Она ни разу не спросила про деньги. Ни про его деньги, ни даже про свои будущие — кроме сухого «когда и как». Не про бизнес. Не про обороты. Не про апартаменты в Сити, где им предстоит разыгрывать семейную идиллию под окнами дедовых знакомых. Ни одного из тех вопросов, которые он выучил наизусть, потому что их задавали все. Разными словами, с разной степенью изящества, но все. *Чем ты занимаешься? А это прибыльно? А квартира — своя?*. Он знал этот репертуар лучше, чем свой прайс-лист.

Галина не задала ни одного.

Это было либо очень хорошо, либо очень подозрительно, и он честно не мог решить, что именно. Слишком удобно, чтобы верить. Слишком последовательно, чтобы быть игрой. Женщина, которая спрашивает про деньги, хотя бы понятна. А эта — как закрытая история болезни: буквы видишь, а диагноз не читается.

Он вспомнил её пальцы на столе. Как он положил свою ладонь сверху, для зала, и как пальцы под его рукой остались прямыми. Не сжались, не ответили, не отдёргнулись. Прямые, спокойные, чуть прохладные. Пальцы человека, который держит скальпель, они и в покое сохраняют ту же готовность, тот же ровный тонус. Не расслабленные, не напряжённые. Просто точные.

И ещё то, как она замерла, когда он придержал ей стул. На секунду. Может, полсекунды. Крохотная сбивка в её безупречном автопилоте: жест не был оговорён, значит, не для наблюдателей, значит — зачем? Он и сам не знал зачем. Рука сделала сама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.